
Сергей ФЕОКТИСТОВ

Золотая просека

Главы из повести



Удивительные вещи бывают на свете. Вот живет рядом с вами самый обыкновенный на вид человек: прост он лицом, и скромно одет, так же, как все, спешит по утрам на работу, и, как у всех смертных людей, есть у него свои слабости и недостатки. Вы часто встречаетесь с ним: то мирно беседуете, то горячо спорите о чем-то близком вам обоим. Случается и рассердитесь на него, и порой он покажется вам странным, потому что так задумается иногда на улице, что не замечает ничего вокруг.

Но проходит время, и вы, вспоминая о нем, начинаете сознавать, что человек-то жил рядом с вами необыкновенный, и душа у него была особенная, и умел он заглянуть в жизнь дальше и глубже многих. Недаром люди тянулись к нему с открытым сердцем, дорожили его мыслями и советами. Да и сам ты, пожалуй, обязан всем лучшим, что есть в тебе, пусть даже не долгой, но прекрасной дружбе с ним.

Так думаю я о Петре Комарове.

В памяти оживает все, что связано с его именем, и кажется лишь вчера миновала она, теплая июльская ночь тысяча девятьсот сорок шестого года, которую мы коротали с ним в купе скорого поезда. Уже целые сутки мчал он нас из Хабаровска на запад. Пассажиры, уставшие от дневной духоты и дорожной сутолоки, крепко спали. Задремал и я.

Вдруг, чем-то обеспокоенный, тревожно, на всю окрестную даль, закричал паровоз. Разбуженный, я повернулся на бок, отдернул шторку и увидел, как за окном порхают крупные, яркие, похожие на желтых бабочек, паровозные искры.

В лицо пахнуло приятной луговой свежестью. Перед нами проплывала амурская степь.

Только что отшумел дружный, веселый летний дождь, ушла в сторону Станового хребта иссиня-черная, озаряемая вспышками молний, туча. Небо опять вызвездило, в чистой, насквозь промытой тишине стали особенно четко выстукивать свою песню старательные колеса.

Верхнюю полку напротив меня занимал Комаров. Но она пустовала. А сам он, рослый, худощавый, в белой вышитой рубашке, свободно облегающей чуть приподнятые плечи, стоял за распахнутой дверью в безлюдном, полуосвещенном коридоре и смотрел из окна в белесые от росы и тумана дали. Матовая лампочка была как раз над его головой

и вместе с мягким лунным сиянием озаряла скуластые щеки Петра Степановича, высокий лоб, над которым темнели, как вороново крыло, густые, зачесанные набок волосы.

Встречный ветер уже порядком растрепал и спутал их. Комаров не замечал этого, не поправлял спадающих на глаза прядей — он лишь тербил в длинных пальцах давно погасшую папироску и, вдыхая всей грудью сладкую, освежающую прохладу степи, вполголоса читал свои стихи:

Мне кажется, почти еще вчера
Сюда мое заглядывало детство,
И след от пионерского костра,
Наверно, сохранился по соседству.

А я смотрел на него и думал: откуда в этом человеке вдруг забил такой горячий, такой неистощимый родник поэзии? Он же не кончал никакого специального литературного учебного заведения, имел самую простую родословную, всю жизнь прожил в своем «таежном, медвежьем краю». В чем же секрет его творческого взлета, притягательной силы его стихов и поэм? Неужели в одном лишь каком-то особом природном таланте?..

Размышления мои прервал сам Комаров:

— Спишь?

— Уже проснулся...

— Сейчас будет она!

Спросонок я не понял его:

— О ком это ты?

Поезд уже мчался, громыхая через какой-то мост, и Комаров, не ответив мне, снова припал к окну. Высунувшись из него почти до пояса, с развевающимися волосами, он как-то особенно сердечно вымолвил:

— Зея!..

И одним этим словом объяснил мне все: он был в краю своего детства, о котором я так много слышал...

ПАРЕНЕК ИЗ ПОПОВКИ

Недалеко от города Свободного, мимо которого прошел наш поезд, Зея делает крутой поворот, оставляя на левом берегу небольшую колхозную деревеньку Поповку. До самой революции она была безымянной слободкой, и низенькие бедняцкие избышки ее раньше называли молчановскими хуторами.

Не знаю, чем еще славились эти хутора, но ребятишек там было много. С утра до вечера они пропадали на Зее: купались, загорали, удили рыбу.

Однажды, завидев приближающуюся к ним повозку, мгновенно выскочили из воды и черные, как негры, закричали:

— Новоселы едут! Новоселы...

Дорога шла возле берега. Рядом с телегой шагал дюжий, плечистый мужчина в яловых сапогах, в рубашке, по-рабочему подпоясанной тонким ремешком. Это был Степан Федорович Комаров, переселенец из Новгородской губернии. Случилось так, что, работая на Кулотинской брезентовой фабрике, он покалечил руку. Пришлось ему оставить производство. От людей он уже слышал, что Приамурье — богатый неоглядный край, и решил податься на привольные дальневосточные земли.



*Петр Комаров,
фото 1929 г.*

Семейство у него было немалое: на телеге рядом с женой Татьяной Семеновной сидело четверо детей. Самый младший из них, Петя, все смотрел по сторонам, слушая возбужденный говор старших. Сестры Паша и Груня чуть не плакали: куда это, в такую глушь завез их отец? Кругом шумела дремучая тайга, редкие избенки ютились на взгорье у реки. А река-то... Кто ее переплышет такую...

Пока новоселы разгружались на берегу, молчановские мужики поймали в Зее огромную, как бревно, калугу. Это ли не диво — двадцать пудов рыбина! Петя даже оторопел, взглянув на нее. А вечером рыбаки подцепили на снасть такого сома, что он всю ночь таскал их за собой вместе с лодкой.

И щуки и таймени попадались в сети. А разную мелкоту ребяташки зачерпывали кепками.

Они охотно приняли Петю в свою компанию, показали ему, где растут ягоды, орехи... Чуть только настанет утро, голенастые, загорелые мальчишки уже торопятся на Зею, бегут мимо комаровского табора, свистят, подают знаки. Но Пете не всегда удавалось отправиться на рыбалку. С первых же дней семья Комаровых занялась делом. Отец и старший брат Василий корчевали деревья, расчищали участок под огород, сестры Паша и Груня стаскивали в кучу хворост, а Петя погонял старенькую лошаденку и только вечером бежал к реке, размахивая удочкой.

Привольные лежали кругом места! Ну разве не заманчиво переправиться в лодке на соседний остров Молчановский, где паслись дикие козы, в кочкастых озерцах весной плавали стаи уток! Следить за ними было так интересно... В сенях у Комаровых всегда висела старая бердана. С ней отец ходил на охоту. От него Петя многому научился. В десять лет он уже сам сбил на лету казарку.

Было за что любить и зиму. Тайга причудливо серебрилась инеем, у самого берега на снегу петлял заячий след, распутывать его казалось лучше всякой забавы. А Зея! Она так и манила к себе — там сверкал зеркальный лед, и деревянные коньки скользили по нему за милую душу.

Прямо с реки, раздумянный утренним морозцем, с холщовой сумкой на боку, Петя бежал в школу, над крылечком которой висел портрет Ленина в венке из сосновых веток, перевитых алой лентой. Ильич

приветливо улыбался с портрета и таким родным казался ребятишкам, что Пете очень хотелось заслужить его похвалу. Он и учился старательно, и товарищам помогал, и школьным кооперативом заведовал.

Уже затемно приходил он домой. Мать доставала из печки чугунок с картошкой, ставила на стол кувшин молока, зажигала плешку и садилась напротив сына. Петя ужинал и слышал, как за окном свистела метель, выли волки. Никто их не прогонял. В ту пору люди рано ложились спать. Об электричестве и не думали, керосин и тот имелся не у всякого, с лучиной долго не насидишь.

Время было трудное. Совсем недавно отгремели выстрелы гражданской войны, все хорошо помнили зверства японских интервентов, их разбойничьи дела. Самураи забрали в деревнях на Зее всех лошадей и коров, запретили жителям выходить дальше поскотины, а непокорных хотели расстрелять. Вместе с другими крестьянами слободки был взят под стражу и Петин отец. Всем грозила гибель. Спас их Василий Комаров. Он знал, где располагались партизаны, и темной ночью отправился в тайгу за подмогой. Красные подоспели вовремя: самураи, пришедшие с бедой, были разгромлены.

Тогда и дали молчановским выселкам имя амурского большевика Попова, геройски погибшего в бою с японцами, а Василия за его храбрый поступок бедняцкая молодежь единогласно выбрала секретарем только что организованной комсомольской ячейки.

По вечерам в домике Комаровых стали собираться юноши и девушки. При свете лучины они вели бурные разговоры о том, что надо чаще ставить спектакли, читать крестьянам художественную и политическую литературу, пробуждать в людях тягу к знаниям, к той жизни, за которую борется Ленин. Но книг таких у комсомольцев не было, и они не знали, где их взять.

— А я знаю где! — крикнула однажды от дверей черноглазая Таня Шепотько — дочь самого многодетного жителя Поповки. Она пришла на собрание ячейки в больших отцовских сапогах и вся завьюженная стояла у порога. — Давайте посеем комсомольскую десятину, тогда и деньги найдутся, и купим все, что надо!

— А чем сеять будем? Семена на улице не валяются, — слышалось из разных углов.

— Взаимы попросим! Не у кулачья, конечно, у бедняков. Они поделятся с нами!

Говорила Таня горячо, убежденно, и предложение ее приняли. Всю деревню тут же разбили на пятидворки. За каждую выделили ответственного. Но пятидворок получилось семь, а комсомольцев было только шесть. Кого же прикрепить к седьмой?

— Меня прикрепите! — спрыгнул вдруг с печки меньший братишка Василия, которого все считали спящим.

Комсомольцы недоверчиво посмотрели на вихрастого взъерошенного паренька:

— Не справишься ведь?

— Ну да... — упрямо тряхнул головой Петя.

Утром он пошел собирать семена. Кто сыпал ему в ведро горсть, кто две и три — ноша становилась все тяжелее. А мороз на улице был такой, что дым из труб вылетал хлопьями, точно стрелял в ледяное небо. Паренек обморозил себе уши, но задание комсомольцев выполнил с честью.

Потом он участвовал в субботнике, возил в поле золу, ставил вокруг деляны щиты, чтобы на ней дольше лежал снег.

Весной участок распахали, засеяли овсом, и вскоре показались густые всходы, крестьяне останавливались любоваться ими.

Лето было дождливое, и все же сорнякам не дали ходу. На борьбу с лебедой и пыреем Петя Комаров вывел всех пионеров. Прополотый овес дружно заколосился. Ребята ходили вокруг него гордые, как настоящие хлеборобы.

Больше всех радовался Петя.

Но как-то прибежал он домой бледный, запыхавшийся и от волнения не мог выговорить ни слова. Брат даже рассердился на него:

— Да говори же ты, что случилось? Ну?

Отдышавшись, мальчик стал рассказывать, как собирал по оврагам дикую малину и неожиданно подслушал разговор кулацких сынков, которые задумали пустить «красного петуха» на комсомольскую десятину.

— Собирай свою гвардию и в поле. Живо! — приказал Василий брату. — И не покидать поста до тех пор, пока мы не сменим вас. Ясно?

— Ясно! — Петя отдал салют и выбежал на улицу.

А вечером, когда к дежани пришли старшие и разрешили пионерам идти спать, сказал им:

— Нет, нет, я останусь с вами!

Патрульные разбились на две группы и, обходя участок с разных сторон, встретились на пригорке. Отсюда легче было наблюдать. Все залегли в дубнячке, прислушались. Кругом было тихо и темно, хоть глаз коли. Откуда же взяться беде? Не сочинил ли ты, Петруха?

И вдруг чуть правее дозора вспыхнули огоньки — один, другой, третий... Огоньки эти быстро побежали по сухой траве к пашне. Еще несколько минут — и все овсяное поле займется огнем. В отблесках его мелькали чьи-то вороватые тени. Послышалась стрельба.

Над головой Пети засвистела картечь. Он хотел остановиться, припасть к земле, закрыть голову руками, но, увидев, что комсомольцы стараются отрезать бандитов от леса, тоже побежал вперед.

— Стойте, гады! Некуда вам отступать! — слышался в ночи голос Василия.

Но темнота все же скрыла кулацких сынков. Словно ужи, расплозились они по траве, вскочили на коней.

— Улизнули, проклятые!

— Далеко не уйдут, найдем! — ответил товарищам Василий и увлек всех за собой тушить огонь.

Петя тоже топтал ногами языкастое пламя, засыпал землей, сбивал своим стареньким пиджачком. Ему нестерпимо жгло лицо и руки, каждую минуту могла загореться одежда, но он до конца помогал старшим бороться с бедой.

Пожар потушили, выращенный урожай спасли. Осенью комсомольцы обмолотили его, вернули долг беднякам, а остальное продали им же по самой дешевой цене. На вырученные деньги купили бумагу, чернила, кое-что для сцены: парики, занавес... А какие книги привезли из Свободного ребята! Тут был и Пушкин, и Толстой, и Некрасов, и Горький... С наступлением зимы в Поповке открылась своя библиотека, и заведовать ею стал Петя Комаров.

Как-то раз уложил он самые интересные книги в холщовую сумку и побежал сквозь январскую метель по деревне. Зашел в одну избушку и не сразу понял, что случилось, почему хозяин не отвечает на его вопросы. Потом, смахивая рукавом слезы, мужик тихо вымолвил:

— Ленин умер...

Петя так и застыл на месте. Книга выпала у него из рук. Чувствуя, как щемит сердце, он спросил хозяина избы:

— Как же теперь, а?

Мужик молчал.

Потрясенный горем, точно во сне, побрел Петя к школе и долго стоял там без шапки в толпе притихших односельчан перед портретом улыбающегося людям Ильича, не замечая ни вьюги, ни ледышек на мокрых ресницах...

Домой он возвращался не один: с ним шел Фома Романенко. Широкоплечего, острого на слово Фому все в Поповке называли большевиком: бедняки говорили о нем с уважением, кулачье — с ненавистью, потому что он организовал крестьян в товарищество по совместной обработке земли. Головастый, с грубыми шахтерскими руками, с твердым, точно вырубленным из камня лицом Фома отечески говорил тогда Пете:

— Это хорошо, что ты плачешь. Значит, тоже понимаешь, что у народа большое горе. Только Ленин не умер, он будет жить вечно, потому что Ленин — это все рабочие и крестьяне, все, кто трудится, строит новую жизнь. И надо еще смелее бороться за нее. Бороться дружно, сообща — ведь люди, как пальцы в кулаке, сильны своей сплоченностью.

От слов Фомы у Пети полегчало на душе. А дома он узнал, что комсомольцы решили выпустить специальный номер стенной газеты, посвященный Ильичу.

— Давай-ка помоги нам, — попросил его Василий.

Петя горячо взялся за дело и, пока переписывал своим ровным красивым почерком заметки юнкором на большой лист бумаги, неожиданно для себя сочинил частушку:

Самым правильным путем
Мы за Лениным идем.
И девиз у нас таков:
Прочь с дороги кулаков!

Редактор стенной газеты Павел Зимин прочитал ее и от радости обхватил паренька за плечи своими медвежьими ручищами:

— Это же здорово! Это же почти... Демьян Бедный!

Частушку поместили на самом видном месте. Крестьянам она тоже понравилась, у кулаков — вызвала злобу. Рыжебородый Порфирий повстречал Петю за огородами и сказал, кивая в сторону Зеи:

— Давно она скучает по тебе, сосунок голоштаный! Булькнешь, только пузыри на воде останутся!

Петя промолчал, но домой вернулся невеселый... Рассказать бы об этом, но кому? Отца схоронили, брат Василий уже третий месяц учился в совпартшколе, а дядя Фома, как на грех, уехал в Хабаровск. Матери? Разволнуется и за ворота не пустит больше. «Лучше уж молчать», — решил он. А потом вырвал из тетрадки страничку, написал на ней аккуратными прямыми строчками то, о чем давно думал, и побежал к новому секретарю комсомольской ячейки Тане Шепотько.

— Вот... мое заявление. Решил вступить в комсомол.

Девушка улыбнулась:

— Рановато тебе еще, Петя...

— Ничего подобного, — возразил Комаров. — Я уже с тебя ростом!

Павел Зимин поддержал его:

— Верно, Петя! Подавай заявление, и никаких гвоздей.

— А устав? — строго взглянула на редактора Таня Шепотько. — Там же ясно сказано: принимать можно только с четырнадцати лет, а ему — тринадцать!

Комсомольцы переглянулись. Зимин что-то горячо зашептал девушке.

— Ладно, так и сделаем! — согласилась Таня.

И Петра Комарова приняли в комсомол, прибавив ему в анкете лишний год, чтобы все было «по закону».

Он и в самом деле точно повзрослел сразу: стал обучать бедняков грамоте, рассказывал им, что пишут в газетах, отчего бывает гром и молния... А потом в жизни Поповки произошло событие, которое взволновало всю деревню, а Петя Комаров даже написал о нем стихи:

К нам весной комсомолец Карцев
Первый трактор пригнал в село.
Все село от юнцов до старцев
Разговоры о нем вело.

— Ну, конек! Не конек, а диво! —
Трактор щупали мужики.
По всему у них выходило,
Что пахать на таком — с руки...

На вечере самодеятельности автору долго хлопали. Комсомольцы даже качали его. Учитель Андрей Андреевич крепко пожал Пете руку. А Фома Романенко впервые назвал его по имени-отчеству:

— Так и шагай, Петр Степанович, дальше. В жизни еще много светлого и радостного откроется тебе. Только всегда помни, что это — плоды нашей советской власти!

И посоветовал матери юного стихотворца:

— Не удерживай его, Семеновна! Пусть едет учиться. Когда у орленка отрастают крылья, он обязательно улетает из гнезда, на большой простор. Максим Горький тоже из простого люда вышел, а вон каких вершин достиг!

И маленькая, безвременно постаревшая от забот женщина всю ночь просидела над свечкой с иголкой в руках: чинила своему меньшому рубашки, пришивала покрепче пуговицы. Потом уложила в его деревянный сундучок сухари, полотенце и купленные на последние гроши тетрадки. Утром чуть свет, заплаканная и опечаленная, вышла проводить его к Зее, на попутный пароход. И пока ветхое суденышко не скрылось за кривуном, все стояла на прибрежном крутояре, все махала вслед сыночку худенькой ласковой рукой.

СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ

И полетели, как гусиные косяки, дни, месяцы, годы...

Было это время первых советских пятилеток. Мужала в труде страна. Обновлялся Дальний Восток. Росли его города и люди.

В Хабаровске строились заводы, открывались техникумы, институты: все больше становилось студентов и студенток.

Зимним вечером одна из них как-то возвращалась домой от подружки. На Комсомольской улице, самой бугристой в городе, дорогу ей неожиданно преградил высокий чернявый парень. Он стоял в охотничьих унтах, в огромной косматой, чуть заломленной назад папахе. Девушка оробела, уже собралась бежать, но парень успел спросить ее, где находится редакция газеты «Набат молодежи».

Она знала — на той же Комсомольской улице, в полуподвальном помещении старинного двухэтажного домика, но, растерявшись, произнесла совсем другое:

— Извините, я очень тороплюсь! — и со всех ног бросилась мимо.

Парень громко рассмеялся. Смех у него получился чистый и такой заразительно веселый, что она оглянулась и увидела, как чернявое, не

по годам серьезное лицо парня вдруг сделалось совсем юным и добродушным: так преобразила его мягкая, открытая белозубая улыбка.

Девушка тихо и спокойно пошла дальше. А потом уже узнала, что «напугал» ее новый литературный сотрудник комсомольской газеты Петр Комаров.

Два года назад он окончил в городе Свободном школу крестьянской молодежи и поступил в Благовещенский сельскохозяйственный техникум, мечтая стать агрономом. Но поэзия все сильнее захватывала его. Сначала он отдавал ей свободное от занятий время, затем понял, что она потребует от него гораздо большего. Что было делать? Не одну ночь он провел в раздумье, а затем поездом отправился в Хабаровск, из которого уже получил не одно письмо.

Необычная одежда его вызвала целую сенсацию в редакции. Работники «Набата молодежи» смотрели на своего нового собрата по перу с нескрываемым любопытством. В глазах у каждого был один и тот же вопрос: «Неужели это он написал задушевные стихи о бревенчатом домике над Зеей, о первом деревенском спектакле в маленькой школе?»

Новичок, немножко смущенный таким интересом к нему, сказал с улыбкой:

— Вот я и приехал. Давай познакомимся...

В тот же день новые друзья провели Комарова по всем отделам редакции, рассказали, как готовится к выпуску очередной номер «Набата». Потом Григорий Кравченко, Семен Бытовой, Анатолий Гай, уже признанные в городе поэты, познакомили его с местной литературной средой и поочередно давали ему приют у себя, пока он не получил квартиру.

Поэзия быстро сблизила их. Вместе они ходили по улицам Хабаровска, стояли на берегу закованного льдами Амура. Комаров прислушивался к горячим литературным спорам своих новых друзей и сочинял стихи о родной тайге, где в глухих завьюженных хребтах «высокие сугробы залегли».

Стихи опубликовали в газете. Их с интересом прочитали даже те, кто скептически относился к поэзии.

О Комарове заговорили.

Он все делал в редакции добротнo, с неповторимым творческим огоньком: умел оживить любую заметку, каждое юнкоровское письмо. Его хвалили за это на летучках, потом назначили ответственным секретарем, перевели из общего кабинета в крохотную комнатку с одним единственным окном, из которого виднелась лишь стена особняка, где помещалось японское консульство.

В шутку Комаров жаловался товарищам:

— Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный на воле орел молодой...

И очень любил разбирать свежую редакционную почту.

Из нее он узнал, что в отрогах Хингана самоотверженно трудятся добытчики золота, загорелся желанием побывать у них, прочитал письмо редактору и попросил послать его на Сутару.

— Почему же вас? — удивился редактор.

— Потому что это... очень важно. Хочется написать...

— Напишут. У нас есть специальные люди. Поедут и напишут. Вы же — ответственный секретарь, а не разъездной корреспондент...

— Ну вот, — возразил Комаров. — Я не согласен. И ответственный секретарь должен видеть жизнь! — Он пригладил свою шевелюру и спросил, что ему нужно сделать, чтобы все-таки побывать на Хингане?

Редактор, чтобы немножко поубавить его пыл, в шутку, официальным тоном сказал:

— Создадите недельный загон интересного и самого боевого материала, тогда отпущу...

Это была почти непосильная задача для любого секретаря, поэтому редактор невольно вскинул брови, когда Комаров ответил ему, что такой материал будет.

— Ну, ну, посмотрю, как вы умеете держать свое слово!

А Петр Степанович уже думал над тем, как осуществить свою мечту. Он всколыхнул все отделы и сам так долго засиживался в редакции, что не заметил, как в город пожаловал март, засияло над крышами домов подобрешшее солнце и с них начали падать звонкие капли.

В одну из суббот он сдал весь недельный загон редактору, вышел с друзьями на улицу, и здесь путь ему преградила лужа воды. Комаров остановился, заморгал глазами и, широко разведя руками, воскликнул:

— Ребята, а ведь это — весна!

Все громко рассмеялись над «открытием» усердного секретаря.

Ночью он уехал в командировку и вернулся назад усталый, но радостный, окрыленный большими мыслями и впечатлениями. В сумке его лежал очерк о добытчиках золота и стихи о гражданском долге поэта:

Посмотри за окно...
 Это ты называешь весной.
 Ты, товарищ, неправ —
 Это больше весны.
 Надо песню сложить —
 Надо выискать слово такое,
 Чтоб на голос поднять
 Вдохновенное утро страны!

Вечерами после всех секретарских дел он запирался в своей крохотной комнатке и начинал искать... заветное слово. И тогда все, кто еще не ушел домой, слышали, как за деревянной стенкой, медленно и неуверенно, двумя пальцами печатал Комаров на машинке новые стихи.

Часто слышала это и вчерашняя студентка Нина Ходакова. Она работала по соседству с Комаровым, в редакции «Знамя пионера» и ходила в машинное бюро по одному коридору с ним. Он всегда встречался ей с макетами полос в руках, уступал дорогу и улыбался, видимо, вспоминая, как испугал зимним вечером такую же юную девушку своей огромной папашой.

Однажды он остановил Нину.

Случилось это в день смерти Алексея Максимовича Горького, когда вся страна переживала незабываемую утрату. Лицо у Комарова было строгое, опечаленное, с резкими складками вокруг рта. Тихо и глуховато он спросил:

— Нет ли у вас «Песни о Буревестнике»? Решили напечатать в завтрашнем номере, а под руками не оказалось.

Ей очень хотелось помочь ему, она ответила, что сейчас принесет, и побежала через весь город к себе на квартиру. Перерыла все этажерки с книгами брата-журналиста, но ничего не нашла. И пришлось бежать в городскую библиотеку за избранными произведениями Горького. Когда она принесла их Комарову, на столе у него лежал испещренный стихами лист бумаги.

— Это ваши? — неожиданно для себя спросила девушка.

— Мои...

— О нем?

— Да-а... Но, кажется, ничего не получилось. Вот, на ваш суд!

Она взяла стихи и, вспыхнув, стала читать их:

Великий сын великого народа,
Ты до последнего биенья пульса
Звал к счастью человечество, как сокол,
Что рвался вверх с изодранною грудью,
С призывом гордым рвался в небеса...

Девушка читала, а он следил за ее лицом и ждал, что она скажет. Чувствуя, что у нее пылают щеки, она проговорила, не поднимая глаз:

— И я бы так написала... — Смутилась окончательно и поспешно добавила: — Если бы, конечно, умела...

— Спасибо, — поблагодарил ее Комаров. — Я очень рад, что вам понравилось.

Посмотрел в окно, покрутил прядку своих темных волос и признался:



*П. С. Комаров,
фото 1941 г.*

— Так тяжело мне сегодня, что не хватает воздуха. Хочется на улицу. Вы домой? Тогда подождите меня, пожалуйста! Я сейчас отошлю в набор последние материалы и... давайте вместе сходим к реке.

Они спустились по Комсомольской улице вниз, пересекли овражистую Плюснинку и стали подниматься туда, где с высокого берега Хабаровска открывается взору неоглядный, захватывающий сердце, простор великого Амура.

Солнце, весь день сиротливо блуждавшее в облаках, скрылось за ними. Стало совсем пасмурно. Над рекой и городом темнели, сгрудившись, тучи. Начал накрапывать дождь, словно и небо вместе с людьми оплакивало смолкшего Буревестника.

Они укрылись под навесом и смотрели оттуда, как вспененная река выплескивалась на песчаную отмель. Комаров говорил о том, как это обид-

но и несправедливо, что умер Горький, что на земле не стало человека, который был гордостью и совестью всей нашей литературы.

Девушка слушала его и была рада, что усиливается дождь: можно еще побыть наедине с рекой и этим рослым парнем, у которого светлосерые глаза и большие, твердые, в теплых шершавинках ладони.

Она впервые так поздно вернулась домой и не решалась громко постучать в запертую дверь — боялась, что начнет ругаться невестка.

А сердцем своим уже хотела, чтобы поскорее наступал новый, такой же дождливый вечер.

Потом она часто вспоминала стихи мужа о ледоходе на Уссури, который они наблюдали вместе, взявшись за руки.

Была тишина и, казалось,
Ее не нарушат шаги.
И к той тишине прикасалось
Живое шуршанье шуги.

На одной из припльвших с верховьев Уссури льдин осталась даже прорубь с потемневшей тропинкой, и Петру Степановичу подумалось о том, что, наверное, к ней не раз приводили поить своих вороных коней наши бойцы-пограничники...

И девушку, может, встречали
У проруби зимней порой,
А после украдкой скучали,
Что не было встречи второй
Когда-то, такая простая,
Она улыбнулась им тут.
А льдины плывут, и растают,
И память о ней унесут...

Приметы родного края, люди смелой дерзновенной мечты все шире входили в творчество Комарова. Он воспевал их с какой-то особой любовью. И однажды, радостный, сияющий, вручил жене, как самый дорогой подарок, первый сборник своих стихов, выпущенный в свет Дальневосточным книжным издательством.

Было это в сороковом году. Петр Степанович уже работал в «Тихоокеанской звезде» ответственным секретарем краевой партийной газеты.

ПОЕДЕМТЕ НА ХЕХЦИР!

В те дни и состоялось мое первое знакомство с Петром Степановичем.

Я только-только приехал на Дальний Восток и в одном из книжных киосков Хабаровска купил его маленький, в голубом переплете сборник, скромно названный «У берегов Амура». Хотелось узнать, что за поэты живут здесь, о чем и как они пишут.

Уже «заболевший рифмами», я очень ревностно относился тогда к творчеству других и тут же у киоска раскрыл книгу

Она взяла меня за живое. От стихов веяло необыкновенно густыми, свежими запахами еще не известных мне цветов и трав, ранним степным ветром и девственной загадочной тайгой. Они раскрывали новый, удивительно интересный и самобытный мир поэта, в котором красота природы и величие человеческих подвигов сливались воедино. Хотелось еще и еще раз перечитать строки о мужестве первых строителей Комсомольска-на-Амуре, о том, как в чуткой лесной тишине «звенит струной родник хинганский за спиной», а на озере Ханка «двух волн началась перебранка». И поражался я тем, как сильно и образно описал Комаров трагическую гибель охотника, который ушел по первому следу в тайгу за соболями и не вернулся назад.

Не без зависти, с каким-то новым повышенным чувством требовательности к себе решил я тоже написать стихи о тайге, о Дальнем Востоке, уверенный в том, что у меня получится не хуже, и недели через две опубликовал их в окружной газете.

Товарищи по службе похвалили меня за оперативность. Я сидел за своим рабочим столом, как именинник, и лишь слегка повернул го-

лову, когда в кабинет вошел человек лет тридцати. Был он смуглолицый, чуть сутуловатый, и показался мне хмурым, необщительным и даже немножко странным: за окнами ранняя весна, еще довольно прохладно, а на нем легкое демисезонное пальто и густая шевелюра жестких волос вместо фуражки. Еще у дверей он, видимо по привычке, дважды провел по ним ладонью, словно причесывая, и молча пожал руки всем сотрудникам редакции, а мне, как новичку, очень просто сказал:

— Комаров...

Я вскинул голову: «Так вот он какой — автор баллады о зверолове!» И, с любопытством рассматривая его, назвал себя.

— Немножко знаю уже, — проговорил он к моему удивлению. — Вернее, читал вчера и пришел познакомиться...

Он спросил, откуда я приехал в Хабаровск, давно ли занимаюсь поэзией и какие имею планы на будущее. Узнал, что Дальний Восток «привлек меня близостью границы», заулыбался:

— Граница здесь рядом, это верно. Поднимись на крышу и увидишь ее. Только не одним этим интересен наш край, наш город...

За дверью послышался звонок, возвещавший о начале обеденного перерыва. Загремели стулья. Все заторопились в столовую. А я совсем недавно завтракал после дежурства по номеру и сказал об этом Комарову. Он снова оживился:

— Тогда, может, пройдемся по свежему воздуху?

Мы вышли из редакции и не спеша зашагали по холмистым, еще плохо благоустроенным улицам. Были они пыльные, немощеные, а Комаров негромким глуховатым голосом заговорил о том, что в Приамурье каждый город, каждая деревенька — это славная и героическая история русского народа, что Дальним Востоком интересовались еще Петр Первый, Пушкин, что здесь, в Хабаровске, жили знаменитые путешественники Пржевальский, Арсеньев, Венюков... Сохранились их многочисленные рукописи, рассказывающие о храбрецах, которые пробирались сюда пешком, плыли на лодках, чтобы упрочить за Россией берега Амура и Тихого океана.

От Комарова я узнал, что по этим улицам ходили горный инженер, крупнейший советский академик Обручев, отважная летчица Валентина Гризодубова. Он показал мне особняк, в котором выступал Михаил Иванович Калинин, здание, где Серышев беседовал с Сергеем Лазо, скамеечку, на которой любили сидеть по вечерам маршал Блюхер, автор всемирно известного «Разгрома» Александр Фадеев, Аркадий Гайдар и китайский поэт Эми Сяо. А затем повел в парк культуры и отдыха, к высокому берегу Амура, остановился перед стройной даурской лиственницей и почтительно произнес:

— Вот эту красавицу посадил Владимир Клавдиевич Арсеньев — один из любимых моих писателей. Он был основателем и первым директором нашего краеведческого музея.

Беседуя, мы зашли на утес, и нам открылось все водное царство Амура. А Комаров уже говорил о письмах Горького к Арсеньеву, в которых высказывалось пожелание Алексея Максимовича создать сборники по достижениям Уссурийского края и всего Дальнего Востока за годы советской власти, и неожиданно спросил, как я собираюсь провести завтрашний воскресный день.

— Еще не думал, — ответил я.

Тогда Комаров предложил:

— Съездим на Хехцир! Не пожалеете!

С первыми лучами солнца, когда с Амура ощутимо веет речной свежестью и окрестные дали подернуты легкой дымкой, мы выехали на редакционном «газике».

Под колесами машины еще похрустывал утренний ледок, развевались над городом заводские дымки. Водитель оказался лихим парнем, мы быстро выскочили за черту Хабаровска, и здесь в глаза мне бросился нежно-лиловый огонь на склонах еще голых сопок. Я впервые видел такую картину, не поверил, что это цветет невысокий кудрявый кустарник с хрупкими серыми веточками и редкими, глянцевыми, как у брусники, листьями. Да, он горел, он пылал так призывно, что от него невозможно было оторвать глаз.

По моей просьбе шофер притормозил «газик». Я выскочил из машины, застыл, полный восхищения.

Комаров подошел ко мне и сказал, что это и есть знаменитый амурский багульник, который начинает весну, когда еще реки и озера скованы льдом, а на вершинах сопок белеют шапки снега.

И посоветовал:

— Ты почаще сюда навещайся! Тут, брат, настоящая красота. Вот скоро зацветут по тайге черемуха, дикие яблони, ландыш, лесные пионы... Это непременно надо видеть! А как хорошо проплыть на пароходе по Амуру, побывать у рыбаков, у лесорубов и золотоискателей...

Мне становилось ясно, что все, сказанное Петром Степановичем, имеет прямое отношение к моим последним стихам: они не понравились Комарову.

Вернувшись с Хехцира, я заново перечитал свои стихи и среди многих тенденциозных строчек не нашел в них ничего дальневосточного, кроме трех — четырех названий таежных рек и отрогов.

И пошел к редактору за командировкой.

Я много ездил в тот год, был в Николаевске, в Комсомольске, на Сихотэ-Алине, видел буйный Хор, озеро Ханка... Но всякий раз, когда обдумывал новое стихотворение о Дальнем Востоке, ловил себя на мысли, что еще очень мало знаю этот неоглядный край, о котором так увлекательно говорил Комаров.

КОГДА В ОПАСНОСТИ РОДИНА...

Гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

Страшная весть эта с быстротой молнии облетела нашу страну.

Сначала в нее просто не верилось: на улице-то был такой чудесный, солнечный день, и добрая половина горожан с утра отправилась на левый берег Амура купаться, загорать на привольном песочке.

Я заторопился в редакцию, где уже начинал готовиться к выпуску экстренный, внеочередной номер газеты, позвонил жене Петра Комарова, который в это время лечился на одном из башкирских курортов.

— Нет, нет, еще не приехал, — ответила жена. — У него до пятого июля путевка.

А через несколько дней Петр Степанович вдруг сам позвонил мне. Узнав о войне, он бросил лечение, немедленно вернулся в Хабаровск. Мы договорились встретиться у него вечером.

Жили тогда Комаровы на улице Тургенева, в маленьком деревянном домике с окнами на реку. По дороге к ним я все думал о случившемся, о том, что поэзию, видно, придется на время забыть.

Петр Степанович был дома и задумчиво смотрел в окно на затемненный, сразу посуровевший город. Встретил меня у порога и объявил:

— Завтра выступаем в театре музыкальной комедии! Должны прочитать перед спектаклем хотя бы по одному боевому стихотворению: ты, Анатолий Гай, Александр Савицкий... Это очень важно сейчас!

У меня не было ничего злободневного, и я сказал об этом Комарову. Он кивнул на свой письменный стол:

— У меня тоже пока одна лишь строфа. Но буду нажимать. И вызываю тебя на соревнование!

Надо было немедленно садиться за работу. Когда я стал прощаться, Петр Степанович вышел вместе со мной на улицу. Вечер дышал июльской теплыней. С пригорка мы хорошо видели и амурский простор, и притихший город, и синие контуры хехцирских гор, и золотую россыпь неба. Глядя на город, Комаров гневно и влюбленно сказал:

— Да разве можно отдать все это фашистам? Никогда!

И на другой день, в переполненном театре, первым вышел на сцену.

Голос у него был несильный, читал он просто, нараспев, без позы и выкриков, но сразу захватил всех своей внутренней взволнованностью, идущими от сердца строчками:

Кровью нашей политое поле,
Нашей окропленное слезой,
Русское, знакомое до боли,
Не запашет выходец чужой

Он у нас оставит на погосте
В северном березовом краю
Грахом истлевающие кости,
Голову разбойную свою.

Ему долго аплодировали. Мы за кулисами, ожидая своей очереди, с волнением прислушивались к бурной овации зала.

Из театра вышли в одиннадцатом часу. Кругом — ни огонька: все затянули светомаскировочные шторы. Над Хабаровском висела густая мгла и низкое беззвездное небо, в котором время от времени вспыхивали и скрещивались длинные, острые, как мечи, лучи прожекторов, да изредка с тревожным гулом пролетали дежурные самолеты.

Идти домой не хотелось. Мы свернули на Комсомольскую площадь, стали спускаться через парк к Амуру. На середине лестницы Петр Степанович вдруг остановился:

— Знаете что, ребята, у меня новые стихи... прорезаются. Я должен побыть один...

Через несколько недель мы прочли в газете:

Чью жизнь сегодня не затроньте —
От старика и до юнца —
С красноармейцами на фронте
Все наши мысли и сердца.

И далеко от нас иль рядом
Сейчас клубится дым войны,
Но выстрелы под Ленинградом
И нам в Хабаровске слышны.

Я позвонил ему, сказал, что стихи мне понравились, и услышал в ответ:

— Готовься в путь! Завтра — к морякам Краснознаменной Амурской флотилии, потом — к воинам, уезжающим на фронт.

Выступать приходилось почти каждый день.

На боевом корабле, орудия которого были готовы в любую минуту открыть огонь по врагу, Комаров читал стихи, посвященные Москве, защищать которую готовы до последнего движения все советские люди; у вагона-теплушки, окруженной молодыми безусыми пареньками, свою невыдуманную легенду о красноармейце Пашкове, заживо погребенном врагами в землю. Они думали, что покончили с героем, а он встал из могилы и с той же львиной храбростью снова ринулся на фашистов.

Каждая строчка легенды звучала, как боевой призыв, и все же Петру Степановичу хотелось большего. На обратном пути он признался, что пишет фронтовую быль о смоленском крестьянине, у которого немцы зверски убили дочь-учительницу и внука-пионера, а затем преспокойно расположились в его избе на ночлег.

Их было много — грязных и худых.
И храп, и свист был в полумраке сером,
И равномерно вздрагивал кадык
На длинной шее обер-офицера.

Старик вошел.
Он в этот час ночной,
Как тень, поднялся над своим порогом.
Занес топор над вражьей головой
И прошептал по-стариковски: «С богом!..»

Он их рубил. Он был жесток с тех пор,
Как выползли они из преисподней...
Я славлю окровавленный топор,
Когда топор руками правды поднят!

Поэма называлась «Возмездие». Я слышал, как Петр Степанович читал ее на одном из заводов Хабаровска. В большом цехе, смолкшем на время обеденного перерыва, воцарилась тишина, только глуховатый голос поэта гремел под его сводами. И все суровой делались лица рабочих. Гневные, с молчаливой решимостью, разошлись они по своим местам, а вечером в новой квартире Комарова на улице Шевченко неожиданно зазвонил телефон. Говорили из парткома завода:

— Сообщаем, Петр Степанович: выполнили полтора дневных плана.

— Я очень рад этому.

— А мы хотим поблагодарить вас... за помощь. И просим почаще приезжать к нам.

Повесив трубку, Комаров долго ходил взволнованный по комнате.

— Я ведь очень мучился от сознания, что не могу из-за своей болезни поехать на фронт. А теперь вижу, можно воевать и стихами!

И уже другим голосом спросил меня:

— А почему ты ничего не дал в очередной «Удар по врагу»?

— Не успел...

— Это не причина. Сейчас всем некогда. И все же Николай Рогаль, Дмитрий Нагишкин написали новые памфлеты о гитлеровцах, Анатолий Гай — отличную сатиру. А ведь он, ко всему прочему, обучает ополченцев стрельбе из винтовки, готовит целую роту. Извини, мне нужно сходить к Вадиму Павчинскому. Мы готовим с ним сатирический плакат. Дело-то нужное!

На площадке второго этажа он увидел свет в замочной скважине и улыбнулся:

— Не спит! Ну, счастливо тебе!

И чтобы не разбудить соседей, тихо, одним ногтем указательного пальца постучался в дверь художника.

От Павчинского Комаров узнал, что крайком партии решил послать выездную редакцию «Тихоокеанской звезды» в Комсомольск-на-Амуре, где по соседству с тайгой строились в ударном порядке цеха нового завода, и тоже начал собираться в путь.

— У тебя же пальто на рыбьем меху, а холода-то вон какие, — замерзнешь! — попробовала отговорить его жена.

Он отшучивался:

— Там кругом огни новостроек. Еще жарко будет...

И в серых поношенных валенках, в старой шапке-ушанке, потому что новую меховую отдал в фонд обороны, отправился на вокзал.

Строители спешили. Под открытым небом, на сквозном леденящем ветру рыли они за городом котлованы, собирали конструкции, возводили к облакам прямые, как стволы зениток, трубы. Землекопы, монтажники, верхолазы по три смены не отрывались от работы, забывали про сон и отдых, чтобы скорее вступил в строй еще один богатырь советской индустрии.

Комаров с утра до вечера был на ногах, тоже согревал своим дыханием посиневшие пальцы и, возвращаясь в редакцию, спешил отозваться стихами на беспримерный подвиг строителей.

И вот наступил день открытия «Амурстали», день пробивания и пуска первой летки. Тысячи глаз следили за каждым движением марте-новцев. А как только огненный искрящийся ручей, светясь, хлынул в изложницы, от радостного человеческого гула содрогнулись стены огромного цеха.



На снимке (справа налево): Г. М. Марков, П. С. Комаров, С. А. Смоляков, В. Н. Ажаев (1945 г.).

Петр Степанович тоже закричал «ура», тоже снял шапку, приветствуя всей душой рождение нового завода. Сверху сыпался не то снег, не то дождь. Холодные капли падали за воротник, обжигали тело. Комаров даже не пытался укрыться от них. «Советские люди, бесстрашные люди — вот это и есть Амурсталь!» — сочинил он.

И долго еще жил он этим событием.

А когда Советская Армия разгромила немцев на Курской дуге, опять вспомнил первого большевика из родной деревни Поповки, зверски убитого врагами советской власти в тридцать седьмом году:

— Он прав был, Фома Романенко: пальцы сильны кулаком, люди — дружбой, единой целью. Теперь уж фашистам не справиться. Их погонит до самого Берлина и наша дальневосточная сталь!

И, гордый за дела своих земляков, писал о родном крае:

...Я бы ветры вдохнул твои с жаждою,
Я бы выпил ручьи до глотка,
Я тропинку бы выходил каждую,
Да моя сторона велика.

Как посмотришь — не хватит и месяца
Обойти и объехать ее.
Только в песне да в сказке уместится
Приамурье мое!..

Стихотворение еще не было опубликовано, а на столе Комарова уже лежала толстая, в коленкоровом переплете тетрадь, на которой его ровным строгим почерком было написано: «Владимир Атласов. Роман в стихах». Я удивился:

— Это что, уже готовая рукопись?

— Пока лишь заглавие. Но буду нажимать. Японцы наглеют все больше. Видимо, придется скоро серьезно говорить и с ними. Вот и хочется рассказать советским людям, какой дорогой ценой достались нам здешние, исконно русские земли, на которые зарятся самураи. Подвиг Атласова заслуживает этого. Еще Пушкин восторженно называл его «камчатским Ермаком», собирался воспеть для всей России. Он даже подробно законспектировал редкостную книгу Степана Крашенинникова: «Описание земли Камчатки». На обложке конспекта осталась дата: 20 января 1837 года. А через семь дней прозвучал выстрел Дантеса...

Рядом с книгой Крашенинникова на столе Комарова лежали другие выцветшие архивные документы. С их помощью он составлял для себя русско-камчатский словарь далеких петровских времен, стараясь лучше почувствовать дыхание седой старины.

Два года писал Комаров первую часть романа, нередко просиживая за работой ночи напролет. А днем выполнял обязанности ответственного секретаря Хабаровского отделения Союза писателей. Он почти не отдыхал. Это совсем подорвало его здоровье. Врачи посоветовали поехать в Крым, подышать морем. Петр Степанович отказался:

— У нас здесь воздух не хуже!

И отправился на все лето в Амурскую область, поближе к Зее.

Он согласился редактировать для издательства рукопись первого моего сборника, и я, приехав с Сахалина, отправился в поездку вместе с ним.

За городом Свободным проводница предупредила нас:

— Вам скоро сходить. Стоянка маленькая, приготовьтесь!

Комаров прошел в купе, присел на нижнюю полку рядом с женой.

— Не спишь?

— Нет...

— Мы уже подъезжаем. Пора будить детей!

КОСАРЬ

Повозка, в которую сложили вещи, посадили детей — Танюшу и Сережу, — сразу же нырнула с пригорка в буйную, пахнущую дождем листву, и мы ехали под зеленым шатром, по звенящему птичьими голосами разнолесью. Могучие одинокие сосны среди берез и кустов, кудрявая, еще в розовом цвету спирея чередовалась с приземистым дубняком и рябинолистником, мшистые кочкарники сменялись ровными полянками земляники.

На открытых солнцепеках ягоды были крупные, пунцовые, дети шумно спрыгнули с телеги и, не зная чему отдать предпочтение — землянике или цветам, поминутно оглашали лесную тишь радостными возгласами.

— Папа, смотри, на одном кустике десять красных ягод! — кричал Сережа.

— А у меня еще больше! — ревниво отвечала брату Танюша и тоже звала к себе отца.

Петр Степанович вместе с ними собирал землянику, угощал самыми спелыми ягодами жену, и приятно было смотреть, как всем семейством, взявшись за руки, Комаровы бежали за повозкой, давая полную волю своим радостным чувствам.

Впереди показалась сосновая роща. Потом взору открылся широкий, весь в солнечных блесках простор с березовыми перелесками и синими, как девичьи глаза, озерцами-старицами. Узорно серебрясь, образуя островки и заливы, реза бежала по долине не глубокая, но бурная и капризная горная речка Пера. Подкрадывалась она к деревенским огородам, разбрасывала по сторонам свои рукава и протоки, наполняла веселым перезвоном тальниковые низинки, лесные буераки и чащобы, по соседству с которыми высилась седая крутобокая сопка. Возница с гордостью поведал нам, что зовется сопка Богачевой, а зеленящая рядом молодыми хлебами заимка — Шестаковской — в память о храбрецах-партизанах, замученных японскими самураями в годы гражданской войны.

Кругом много света, голубизны, лиственной изумрудной зелени. И поля, ласкающие взор, радовали душу. Они переливались волнами амурской пшеницы-голоколоски, ячменя и сои.

И всюду цветы — самых чудесных тонов и раскрасок, какими только украшает землю великая мастерица природа. В белых головках пушицы, в оранжевых купальницах и синих водосборах утопали равнины, пригорки, берега безымянных речушек, полевые и проселочные дороги. И так звенели над нами жаворонки, таким бодрящим был воздух, загустевший от запахов огуречной травы и полынного настоя, что захватывало дух. Хотелось снять фуражку и глядеть, глядеть вокруг.

И Нина Яковлевна, и дети, и Петр Степанович не могли оторвать глаз от распахнутого до самого горизонта приволья.

А мне после рассказов возницы невольно подумалось о том, что, наверное, вот так же любовались когда-то тут зоревыми далями бородатые украинские мужики, бежавшие от лютых панов на восток поискать вольной земли. Это они срубили здесь первые хаты и дали новому гнездовью такое поэтическое имя — Разливная!

(Окончание следует)

Золотая просека

Главы из повести¹

Деревня обосновалась в самом центре таежного распада, на сухом, не доступном половодью увале, раскинулась двумя рядами изб по его продолговатому гребню. Еще виднелись следы недавней войны. Мало было новых построек, они терялись среди старых домишек, ветхие крыши которых уже давно требовали ремонта и замены. Особенно нуждалось в этом покосившееся подворье. Зато цветы встретили нас и здесь. Почти из каждого окна нам приветливо махала огнисто-малиновыми шапками герань, показывала свои длинные сережки фуксия.

И почти у каждого крылечка кудрявилась черемуха. Ее кустистой зеленью убрана вся улица — прямая, широкая, с лужайками, с пестрыми стайками вездесущих ребятишек на них. Они мгновенно окружили нас и сопровождали телегу до тех пор, пока она не свернула с улицы в тенистый черемуховый садик, к старому четырехоконному строению. Там стоял коренастый лет пятидесяти мужчина с коричневым, точно продубленным лицом. Я невольно обратил внимание на его ладную выправку и немножко щеголеватый вид — хромовые чищенные сапоги, синие брюки-галифе, светлую, подпоясанную широким ремнем рубашку и форменный картуз, поблескивающий маленьким кавалерийским козырьком. По тому, как заговорил он с Петром Степановичем, можно было догадаться, что это и есть председатель колхоза «Шумный ключ» Дмитрий Дмитриевич Толстых. Словоохотливый возница раньше поведал нам, что Митрич еще парнем приехал сюда из Тобольской губернии попытать счастья, поставил вместе с отцом в Разливной пятаю по счету хату, а войти в нее не успел — началась первая мировая война. Забрали его в солдаты и отправили на германский фронт.

Воевал он храбро, за смелость получил Георгиевский крест, но тех, кто оторвал его от мирного труда, ненавидел всей душой. Тайком от начальства Толстых читал товарищам большевистские листовки, призывал к братанию с немецкими солдатами. А когда в России произошла революция, приколот к шинели алую ленточку.

В марте восемнадцатого года он демобилизовался, приехал домой. Едва починил соху — на Дальнем Востоке высадились японские и аме-

¹ Окончание. См. «Дальний Восток» № 5, 1961 г.

риканские интервенты. Пришлось снова взяться за оружие. Дмитрий Толстых стал помощником командира красного партизанского эскадрона, громил врагов на Зее, на Забайкальском фронте. Потом, уже в годы первых советских пятилеток, был лесорубом, старателем.

В Разливную он вернулся с рабочей закалкой. Организовал деревенскую бедноту в колхоз, был избран председателем и принял под свое начало тридцать гектаров разбросанной по всем низинкам пахоты, шесть выбракованных лошадей и столько же беспородных коров. С тех пор, уже более четырнадцати лет, руководил он артельным хозяйством. А время-то какое было: ожесточенная борьба с кулачеством, годы Великой Отечественной войны, когда в деревне остался один единственный мужчина — он председатель, остальные — женщины. С ними Митрич вел санное и бондарное производство, выращивал по двадцати центнеров пшеницы на каждом гектаре и держал первенство в районе. Его прозвали тогда «комендантом бабьего гарнизона», а уважать стали еще больше. В самые трудные для Родины дни он вступил в партию и отдавал колхозу все свои силы.

Толстых поздоровался с нами и проговорил:

— Ну, коль уж вы решили, что в школе вам будет лучше, заходите, пожалуйста, и располагайтесь. До сентября дом в вашем распоряжении.

Мы поднялись на крылечко, зашли в светлый класс. Он уже был чисто вымыт и прибран. Старенькие парты, учебные счеты, книжный шкаф с букварями, наверху которого пестрел выцветший глобус, — все было аккуратно составлено в уголке, отчего помещение казалось просторнее. Три окна его смотрели на юг. Митрич распахнул их, и класс наполнился луговой свежестью, запахами сосны и черемухи.

Рядом, за стенкой, были еще две небольшие комнатки, разделенные временной перегородкой. Одна являлась кухней, другую Толстых посоветовал отвести под детскую.

— Плита в порядке, дрова — в садике. Койки скоро привезут. Что еще будет нужно — не стесняйтесь. Постараемся сделать, — говорил председатель.

Комаров поблагодарил его за внимание, а потом сказал, что хорошо бы накопить свежей травы.

Толстых удивился:

— Зачем она вам, трава-то? Матрацы есть...

В глазах Петра Степановича засветилась лукавинка:

— А сами-то вы, Дмитрий Дмитриевич, небось на сеновале спите?

Председатель заулыбался:

— Угадали... Предпочитаю летом сеновал.

— То-то... И мы приехали подышать донником, полынью...

— Ясно! — кивнул Митрич. — Сейчас распоряжусь!

— Нет, нет, — запротестовал Комаров. — Как-нибудь сами справимся.

— Умеете? — приподнял выцветшую бровь Толстых.

— Попробуем... Вот только орудий производства мы с собой не захватили.

— Это не проблема, — понял его Митрич.

Он сходил в соседний двор, принес старенькую с длинным черенком косу-литовку и вместе с нами зашагал по тропинке к ближнему овражку, где буйно зеленела сочная, перемешанная с клевером и мышиным горошком трава. Там председатель колхоза снял свой картуз, поплевал на ладони, но Комаров остановил его:

— Дмитрий Дмитриевич, вы уж извините!..

Толстых молча протянул ему косу.

Петр Степанович поставил ее на черенок, провел пальцем по лезвию.

— Давайте уж и брусок, коль захватили.

Митрич достал из-за голенища тонкий, уже хорошо послуживший хозяину брусок. Комаров окунул его в канавку с водой и стал точить стальное жало. Затем тоже поплевал на свои руки и, расправив одним движением мышцы, широко, по-мужски, замахнулся.

Я тоже вырос в деревне, знал, что покос — самая трудная крестьянская работа, требующая физической силы и большой сноровки. В нашей деревне, как и в любой соседней, были мужики и холостые парни, которые, без преувеличения говоря, являлись артистами этого дела. С засученными по локоть рукавами, с расстегнутыми до отказа воротами рубаш, они гнали в лугах такие широкие, ровные и чистые прокосы, что я мальчишкой засматривался на них, облитых зарей и жарким потом. Мне даже казалось тогда, что это вовсе не работа, а веселая игра с косами — так все у них получалось легко, красиво.

Потом, до службы в армии, я косил в одной шеренге с ними и теперь видел, что Комаров не уступил бы в ловкости и сноровке никому из наших деревенских парней. Он так умело и привычно отводил назад косу и с таким задорным выдохом посылал ее вперед, что она отходила от него полукругом, ровно, как по шнурку. Не оставалось ни огрехов, ни уцелевшей травинки — лишь низкая гладкая щетка, поблескивающая, как чисто вымытый пол.

Вместе со мной за Комаровым пристально наблюдал председатель колхоза, и по всему было видно, что он проникается все большим уважением к своему гостю. Поглаживая одним пальцем выбритую до синевы щеку, Толстых сказал с ноткой шутливого одобрения:

— Ну что ж, Петр Степанович! С завтрашнего дня зачислю вас в бригаду косцов. Если, конечно, не возражаете! А теперь, извините, должен оставить одних. У меня правление. Урожай на подходе. Надо обсудить, как лучше организовать уборку, и конфликтный есть вопрос. Беда с одним колхозником...

— Потрава какая-нибудь? — спросил, не оборачиваясь, Комаров.

— Хуже... С пути человек сбился.

Петр Степанович задержал на взмахе косу.

— А нам можно прийти на правление?

— А почему нельзя? — удивился Митрич. — У нас никаких тайн нет. Даже от вашего брата — писателя.

В ДОМИКЕ С КРАСНЫМ ФЛАГОМ

Толстых ушел по своим неотложным председательским делам, а Петр Степанович продолжал косить. Взмахи его становились шире, лицо залоснилось, черный с отливом чуб весело подпрыгивал в такт шагам. «Цвиг, цвиг, цвиг», — пела среди травы острая сталь.

Не удержавшись от соблазна потягаться с ним в этом деле, я сказал:

— Дай и мне отвести душу!

— На... Только с возвратом! Да осторожней, здесь кочки!

Пришлось вспомнить старый опыт и держать мысок литовки чуть приподнятым. Коса пошла без «спотыканий», но скоро пот начал заливать мне глаза. Я едва «дотянул» рядок и остановился передохнуть.

Комаров заулыбался:

— Быстро ты испекся, товарищ начальник! Надо почаще тренироваться. Служба службой, а гражданские дела забывать нельзя. Не век

же будешь носить на плечах офицерские погоны. Освежись-ка вон в том ручейке и воспрянешь духом!

Я отдал косу. Он молодецато крякнул, и под рубашкой у него еще проворней заходили острые лопатки. По искоркам в глазах, по каждой черточке его лица было видно, что Петр Степанович испытывает сейчас величайшее наслаждение. Он точно сбросил с плеч половину прожитых лет и был готов положить к своим ногам весь луговой простор, до самых дальних далей.

В шутку я заметил ему, что пора, наверное, закругляться, а то слишком большой сеновал получится. Комаров густо ахнул в лад косе: — Как спугну перепелку, так и кончу!

Но перепелка не попадалась, и Петр Степанович махал и махал литовкой.

Мимо овражка, не замечая нас, прошли двое мужчин: один здоровенный, белобрысый, с длинными руками, второй — по плечо ему, щуплый, без фуражки. Остановились среди кустиков закурить, подождали идущую следом женщину. Белобрысый заслонил ей дорогу, спросил, куда это она мчится с бидоном.

— На свиданье! — ответила бойкая молодуха.

— К кому, если не секрет?

Женщина важно подбоченилась:

— Писатель из Хабаровска пожаловал. В школе поселился. Вот председатель и велел молоко ему носить...

Она свернула с тропинки, а белобрысый подтолкнул своего спутника локтем в бок:

— Слыхал, Родюков?

— Слыхал... Не глухой, чай. Поживет, как тот уполномоченный, на колхозных харчах и — прощай, Разливная! Даже спасибо не скажет. Не то, что с меня, многосемейного, положено, не положено — поставку берут.

Разговаривали они громко, и Петр Степанович, воткнув черенок косы в землю, решительно направился к мужикам. Извинился за то, что случайно услышал их разговор, а затем спросил, о каком это уполномоченном шла у них речь?

— Был тут один, — прищурился белобрысый. — Пользы особой не приносил, зато яички кушать любил. А вы что, сенцом решили подзапастись?

— Решил...

— За деньги или как?

— Как положено, — сказал Комаров, застегивая ворот рубашки. — По закону. Писателя хабаровского вы напрасно в чем-то заподозрили. Могу заверить, что в долгу у вашего колхоза он не останется. А насчет вашего вопроса, товарищ Родюков, выясню в сельском Совете.

— Бесполезно...

— Почему же?

— Был там... Раз сорок!

— Тогда поговорю в другом месте. Вас, простите, как зовут?

— Степаном... Крестили Васильевичем... Воронежский я. Только-только обживаюсь здесь, а молокопоставку уже требуют. Несправедливо вроде это.

— Выясню, — повторил Комаров.

Родюков скептически вздохнул:

— Да что уж... Не взыщите, спешим!

Спешил и Петр Степанович — до заседания правления оставалось минут двадцать.

Мы разворошили скошенную траву, отнесли литовку хозяину и отправились к домику с красным флагом над крылечком.

Возле правления нам встретился круглолицый, слегка прихрамывающий человек. Комаров поздоровался с ним.

— Вы, кажется, Фроленков... Сергей Иванович?

— Да, я участковый агроном. И секретарь партийной организации...

Петр Степанович протянул ему руку, назвал себя.

— Толстых рассказывал мне о вас. Я тоже коммунист. Приехал сюда отдыхать. Проживу в Разливной месяца два, хочу встать на временный учет, платить членские взносы и, конечно, выполнять все поручения.

— Помощь нам очень нужна, — сказал Фроленков, поглядывая на часы. — Хотелось бы поговорить обо всем подробно, да времени сейчас нет.

Народу собралось много. Маленький домик был переполнен разливинцами. Мы смешались с ними и снова как бы почувствовали суровое дыхание минувшей войны. Почти не было мужчин средних лет. На лавках сидели главным образом женщины и старики. Из молодых один поскрипывал протезом ноги, другой засунул под ремень пустой рукав гимнастерки.

Толстых стал докладывать активу о том, как правление думает организовывать уборку нового урожая, чтобы своевременно рассчитаться с государством и обеспечить высокий трудодень.

Потом начали выступать колхозники. Одни критиковали правление за слишком долгую раскачку в таком важном деле, другие предлагали пересмотреть оплату труда на уборке, чтобы поднять на борьбу с потерями и старых и малых. А длинный сухопарый старик в матерчатом картузе ястребом налетел на председателя:

— Тяжелы на подъем становимся, Митрич! — начал он, подойдя к столу, за которым сидел Толстых. — Жирком начинаем обрастать, вот и дает себя знать одышка, вот и не беспокоимся о ремонте повозок. А зерно, оно что ручеек весенний, в самую малую дырочку просочится. Не заштопаем вовремя — опять урон понесем. Пока не поздно, надо засучить рукава. Лично я берусь в недельный срок подготовить все складские помещения. Призываю всю мужскую гвардию!

— Кто такой? — наклонился Комаров к Фроленкову.

— Кладовщик наш, Игнат Алексеевич Толстых.

— Однофамилец Митрича?

— Двоюродный брат. Недавно вступил в партию...

Петр Степанович записал что-то в книжечку, а Митрич спросил, кто еще желает высказаться?

Выслушав всех, правление перешло к следующему вопросу. Председатель изложил суть дела: молодой, здоровый мужик Зиновий Пендюрин состоит в сельхозартели, пользуется правами колхозника, а работать не хочет. Летом перепродает на базаре кожаную обувь, зимой спекулирует катанками. И не вор вроде, а залезает в чужой карман. Правление предупредило его, советовало пойти на свиноферму, в строительную бригаду, но ничего из этого не получилось. Пендюрин отказывается работать даже в горячую уборочную страду, хотя колхоз посылал его на курсы комбайнеров.

— К столу его! — потребовал чей-то голос.

— Пусть сам расскажет, как дошел до жизни такой!

С дальней скамейки, к моему удивлению, поднялся тот самый белобрысый здоровяк, с которым мы полчаса назад познакомились в лугах, у овражка. Он вразвалку подошел к столу и, ничуть не смущаясь, заявил колхозникам, что напрасно они кричат на него, у нас каждый гражданин сам себе хозяин. Рыба, как известно, ищет где глубже, а че-

ловек — где лучше. И никто не запретит ему ездить на базар продавать свое — не ворованное.

Кто-то попробовал пристыдить его.

— Ты же минимума трудодней не выработал!

— Стараюсь по силе возможности...

— Видим!.. Бежишь от честного труда, как черт от ладана. Или похудеть боишься? — спросил Игнат Алексеевич.

Пендюрин метнул на него хмурый взгляд и тоном оскорбленного произнес:

— Вы моей внешности не касайтесь. Я ведь могу тоже кое-кого коснуться. Может, я лишь с виду дюжий, а изнутри — хворый. Может, мне доктора поднимать тяжелое запретили?

— Может, и бюллетень выдали? — спросил Фроленков.

— Могли и бюллетень дать...

Все было ясно: работать Пендюрин не собирается, ведет себя нагло, и поэтому колхозники предложили исключить его из сельхозартели.

Он выслушал решение, зевнул, провел растопыренными пальцами по курчавой голове и с независимой ухмылкой произнес:

— Пожалуйста, сделайте такое одолжение! — нахлобучил кепку и шагнул к двери.

Колхозники молча смотрели ему вслед. Митрич подошел к Петру Степановичу.

— Каков гусь, а?.. Видно правильно говорится: горбатого — могила исправит.

ЗАХОДИТЕ, ГОСТЕМ БУДЕТЕ!

Электричества в Разливной еще не было, и ужинать пришлось с керосиновой лампой, сгонек которой озарял лишь один уголок школьного класса.

Мы придвинулись к столу. Петр Степанович, заулыбавшись, вспомнил, как еще пионером, при такой же лампе играл он в пьесе собственного сочинения роль деревенского богатея, тряс на сцене клочкастой бородой, изображая алчность первого мироеда Поповки. Беднота дружно хлопала «артисту». А сам богатея, зеленый от злости, шепнул что-то своему сыну. Вскоре меткий камень вдребезги разбил лампу. Но суматохи не поднялось, в окна школы светила полная луна, и Петя закричал зрителям: «Граждане, спокойствие! Спектакль продолжается!»

Рассказывал Комаров с присущим ему юмором: едва уловимым движением глаз, бровей, так точно передавал ярость и растерянность кулака, что всем стало весело. Только в половине одиннадцатого начали готовиться ко сну.

Нина Яковлевна ушла с детьми в соседнюю комнату, мы с Петром Степановичем полезли на сеновал. Комаров погрузился в душистый клевер и блаженно раскинул руки:

— Вот теперь соснем... Запах-то, запах. Ради одного этого стоило поехать сюда!

Опьяненный запахом сена, я скоро уснул и проснулся оттого, что на улице слышались резкие, как выстрелы, удары пастушьего кнута. Я открыл глаза — еще только рассветало. Комаров уже сидел за работой и шепотом читал написанное:

Костром бивачным чай пропах,
Мы пьем его по пятой кружке.
И среди поля на снопах
Ложимся спать — лицом друг к дружке...

Петр Степанович говорил мне, что считает ранние утренние часы самыми плодотворными, в любых условиях надо отдавать их поэзии. Мне стало неловко за себя, и я тоже поднялся.

— Доброе утро, полуношник! Давно колдуешь?

— Да нет... Только встал...

Скрипнула дверь, вошел председатель колхоза, как всегда подтянутый, щеголеватый. Снял у порога картуз, осведомился:

— Ну, как спалось-лежалось на новом месте?

— Лучше, чем бывшим китайским императорам! — весело ответил Комаров, теребя шевелюру.

— Очень рад. Когда гостю хорошо, и хозяину приятно. Я на минутку. Сейчас отправляю машину в район, не будет ли каких поручений?

— В район? — переспросил Комаров. — Вот кстати. Захватите и меня! Мне надо побывать в Свободном. Подвезите, если можно.

— Можно-то, конечно, можно, — проговорил в раздумье председатель. — Только шоферская кабина уже занята. Доярка собралась сына-курсанта проведать, но я попрошу ее...

— Нет, нет, не делайте этого, — решительно возразил Петр Степанович. — Мне отлично будет и в кузове. Больше воздуха, и все видно... Так что, пожалуйста, не беспокойтесь!

— Тогда прощу в машину! — сказал Митрич, надевая свой боевой картуз...

В полдень напротив школы остановилась полуторка. Увлечшись в садике своими играми, дети не заметили, как из кузова ее выпрыгнул отец. Он неслышно открыл калитку и, подкравшись, радостно объявил:

— Вот и я в вашем полном распоряжении! Получайте гостинцы!..

И вдруг отстранил ребят, окликнул мужчину, шедшего по другой стороне улицы:

— Степан Васильевич!

Это был Родюков. Он увидел торопливо идущего к нему Комарова, остановился, хмурия брови.

— У меня для вас приятная новость, — сказал Комаров. — Вопрос ваш решен, и положительно.

— Кем это он решен?

— Нашей советской властью... Я только что вернулся из Свободного. Председатель райисполкома лично звонил в сельский Совет.

Родюков поднял брови, и стало видно, что у него ясные синие глаза.

— Спасибо! — проговорил он. — Спасибо, дорогой товарищ... Не знаю, как вас зовут-величают.

Комаров сказал.

Родюков протянул ему руку:

— Сердечно благодарю, Петр Степанович! — и, расстроганный, признался: — Не ожидал. Совсем ведь чужой человек. У вас, поди, и своих забот с избытком?

— Ничего, у меня отпуск, — ответил Комаров. — И, пожалуйста, Степан Васильевич, заходите в любое время. Очень буду рад!

— Зайду непременно, — пообещал Родюков. — Где вас искать?

— Тут, в школе!

Родюков вспомнил вчерашнее и оторопел:

— Вы уж простите, Петр Степанович, — попросил он. — По недоразумению все вышло, погорячился...

ОМЕЛА

Я решился наконец показать Петру Степановичу рукопись своего сборника. Сделал это не без робости, зная, как требователен Комаров в творческих вопросах, с какой взыскательностью ведет он в журнале «Дальний Восток» отдел поэзии, и сидел перед ним, как школьник на экзаменах.

Петр Степанович раскрыл папку.

— «Баллада о следопыте», — печаталась. «Комсомольский билет» — тоже знаю. Можно оставить. А это, кажется, новое.

И стал читать стихотворение вслух:

— Спят в кроватках наши дети,
Полночь бродит по земле.
Но горит для всех на свете
Огонек в родном Кремле...

— Давно написал его?

— Недавно.

— И, наверно, за один присест?

— За один...

Комаров помолчал, разминая в пальцах папироску.

— Кое-кому разрешалось это, а нам, смертным, нет. Наверняка не сведем концы с концами. Или изложим большую важную тему таким легким частушечным размером — хоть приплясывай. А ведь форма обязательно должна соответствовать содержанию. Я, например, не мыслю себе «Евгения Онегина» в каком-то другом размере и представляю, что бы произошло с поэмой «Владимир Ильич Ленин», напиши ее Маяковский трехстопным пушкинским ямбом.

Петр Степанович прикрыл стихотворение ладонью:

— Надо сделать его как-то по-другому, более ясно и логично. Неверно, что наш кремлевский огонек «горит для всех на свете». Разве уже перевелись на земле помещики и капиталисты?

Я поспешил сказать Комарову, что прекрасно понял все и сегодня же перепису стихи заново.

Он, улыбнувшись, заметил:

— Переписать-то их легко, обдумать труднее. Для этого, пожалуй, маловато будет и недели. Знаю по собственному опыту.

Петр Степанович не закончил своей мысли: открылась калитка, и мы увидели в садике Зенку Пендюрина. Был он в черной косоворотке, в густо пахнущих дегтем сапогах, на голове — серая с пуговкой кепка. И появился он не с улицы, не со стороны дома, а с задворков, от поросших лозняком оврагов, словно боялся, как бы его не увидели здесь колхозники.

Прикрывая за собой калитку, Пендюрин спросил:

— Можно войти?

— Можно, — ответил Комаров. — Вы, кажется, уже вошли?

— Это верно! — усмехнулся Зенка и стал пристально разглядывать Петра Степановича, держа за спиной свои руки.

— Вы ко мне?

— К вам... Доброго здравьица!

— Здравствуйте!

— Не узнаете?

— Как не узнать? Фигура у вас колоритная!

— Это уж точно, — самодовольно осклабился длиннорукий. — Не помешал? Могу и подождать...

Комаров вышел из-за стола и, видя, что Пендюрин переминается с ноги на ногу, спросил:

— Вы, наверное, хотите предложить мне катанки?

— Могу оказать такую честь! — живо отозвался гость. — Они у меня первый сорт. Никакой мороз не подступится. Благодарить будете!

— Спасибо, но я обхожусь без них.

— Тогда жинке купите.

— И она не нуждается...

— Жа-аль, — разочарованно протянул Пендюрин. — Я бы недорого взял и с превеликим удовольствием. Ну что ж, обижаться тоже не буду: хозяин — барин. Простите за беспокойство и разрешите задать один вопросик?

— Задавайте...

Мужчина убрал наконец из-за спины свои руки, и стало видно, что он держит небольшой, изрядно потертый сборник военных сатирических стихов Комарова «Как пруссак попал впросак».

— Правда, что эту книжку вы сочинили?

— Правда.

— А не шутите?

— Ну, если вам так угодно...

— Значит, вы и есть тот хабаровский писатель?

Пендюрин снял кепку. Уже с подчеркнутой вежливостью, другим, заискивающим голосом сказал:

— Очень приятно познакомиться. А мне говорили: «Новый уполномоченный из района приехал подгонять нас!»

— Подгоняют только лодырей да лентяев, — подчеркнуто возразил ему Комаров. — А в «Шумном ключе» люди трудолюбивые, старательные.

— Оно, конечно, так, — деланно улыбнулся Зенка. — Встают рано, ложатся поздно. В будни работа, в праздник — работа. А книжонка ваша очень даже интересная. Ловко вы тут с фашистами разделались. Лично на фронте участвовали или как?

— Лично!

— На каком же, если не тайна?

— На трудовом!

— А-а-а, — понимающе закивал головой Пендюрин. — Броню имели? А теперь, значит, к нам пожаловали? По какому же, извините, вопросу?

— Посмотреть, отдохнуть...

— Так, так, на экскурсию, значит? А мне сказали, будто вы писать про меня решили?

— И это верно, — подтвердил Комаров.

— И тоже в книжечку?

— Сначала в газету...

У Пендюрина задергалось левое веко, покраснели мочки ушей. Стиснув в руке кепчонку, он тихо спросил Петра Степановича:

— Чем это я так не понравился вам?

— Живете вы несправедливо!

— Живу, как все...

— Неправда! — сурово посмотрел на Зенку Петр Степанович. — Живете, как сорняк, как... таежная омега!

Последнее сравнение, видно, понравилось ему, и он повторил:

— Да, да, как омега! Знаете?

— Не приходилось встречаться. Я ведь с запада.

— Они и там чувствуют себя прекрасно, эти ветвистые прожорливые кусты. Появятся на липе или осине, пустят свои корни в древесину ствола и вытягивают из него соки. Сами разрастаются в огромный зеленый шар, цветут и плодоносят даже зимой, а дерево начинает сох-

нуть и погибает раньше времени. Вот так и вы: живете за счет честных советских людей и еще обвиняете их в несправедливости.

От важной осанки Пендюрина не осталось и следа. Он только усиленно крутил бычьей шеей.

— Оно, конечно, можно назвать по-всякому, — хрипло и простуженно вымолвил он. — Воля ваша! Но я тоже... советский человек и не заслужил, чтобы меня на одну доску с Гитлером ставили...

Комаров молча потирал ладонью щеку, и Пендюрин снова принялся упрашивать его:

— Я ведь не по злему умыслу, просто так, по соблазну. Раз удалось выгодно перепродать, другой, ну и — засосало. А теперь с базаром покончено. Даю вам... слово колхозника!

Комаров откашлялся, начал приглаживать непокорную шевелюру. Он и сомневался в искренности Зенки и был рад такому неожиданному ходу событий.

— Я верю вам, — сказал он наконец. — Писать про вас ничего не буду. А как попала к вам эта книжка? Купили?

— Нет...

— В библиотеке взяли?

— Нету ее пока у нас. Сапожник наш дал...

ОСТРОЕ ЖАЛО

К вечеру небо заголубело всей ширью. Солнце садилось спокойно, обещая на завтра ведро.

У правления колхоза комсомольцы вывесили свежий номер стеной газеты. Оттуда слышался смех, шумные реплики.

Мы тоже подошли, стали читать помещенные в газете стихи.

— С перчиком! — одобрительно сказал Комаров.

Не совсем гладкие, не везде как следует зарифмованные, стихи зло высмеивали беспечного колхозного кладовщика, временно поставленного вместо заболевшего Игната Алексеевича. В самую горячую пору, вспомнив какой-то церковный праздник, «временщик» загулял, и на складе весь день провисел замок. Кончались стихи вопросом: кто же дороже гуляке — колхоз или Христос? Ниже следовала подпись: «Острое жало».

Комарову захотелось поговорить с автором стихов, но никто из читавших стенгазету не знал его подлинного имени. Мы зашли в правление к председателю. Митрич тоже развел руками:

— В том-то и заковыка, дорогой Петр Степанович, что действует он под псевдонимом, инкогнито, так сказать. А то бы я прописал ему ижицу...

— А что, разве он написал неправду?

— Да нет, сложено все верно, — поморщился Толстых. — Случай был, но зачем же тащить сразу в печать?

— Ничего... Пусть другим послужит уроком.

— Оно, конечно, факт безобразный, — согласился Митрич. — Однако нужно учитывать обстановку, сложность момента. Кладовщик прочитал стишки, удрал домой и больше не показывается.

Петр Степанович от души рассмеялся:

— Это же замечательно!

— Да, но кому я теперь передам ключи?

— Найдете кому... В колхозе людей много. А парня в обиду не давайте. Из него может вырасти настоящий сатирик.

Председатель грустно покачал головой:

— У меня уборка на носу. О хлебе думать надо, а не о сатириках...

Они не успели закончить разговора: в дверях показался мужчина с палочкой в руке. Бывший фронтовик.

— Вот, кстати, и редактор стенной газеты, — представил нам его Толстых. — Уж он-то обязан знать, кто скрывается под «Острым жалом».

Однако редактор знал не больше нашего: стихи были опущены в ящик для заметок, написаны печатными буквами и с одним псевдонимом.

— Критика правильная, решили опубликовать...

Комаров согласился с этим, спросил, где живет раскритикованный кладовщик, и мы отправились к хате с поленицей дров под окном.

Дверь открыл пожилой лысоватый человек. Он встретил нас хмуро и настороженно. А когда Петр Степанович упомянул про стенную газету, пришел в настоящую ярость.

— Уж допытаюсь, кому это я встал поперек горла! Понаехали со всех концов страны и мутят воду!

— Кто именно? — спросил Комаров.

В ответ лысый снова зло выругался.

Последняя надежда отыскать колхозного стихотворца рухнула. Петр Степанович возвращался домой огорченный.

Стемнело. Над сопками угасли последние краски заката. Их сменили далекие звездные огоньки и звуки гармоники на другом конце деревни. Бойкие девичьи голоса запели под нее:

Председатель сельсовета
Эх, да разрешил гулять до света!

Потом до нашего слуха донеслись частушки, критикующие плохую работу продавца магазина и безответственного конюха, который уснул на посту с папироской в руке и чуть было не спалил весь конный двор.

— Пошли туда, — сказал Комаров. — Молодежь-то наверняка в курсе событий.

Мы отправились на звуки гармоники.

Между Разливной и домом отдыха, на излюбленной лужайке, парни и девушки устроили танцы. Среди них был и разливинский сапожник Иосиф Петрикис, о котором нам говорил Пендюрин. Побритый, принаряженный, с модным галстуком, он легко и красиво кружил свою молодую партнершу, доказывая, что и будучи седым можно остаться юношей. Заметил нас, приветливо кивнул головой:

— Присоединяйтесь к нашему веселью.

Комаров быстро оказался в кругу ребят, стал расспрашивать их, кто это сочинил такие складные частушки про завмага и конюха. «Никто не сочинял, — отвечали парни. — Понравилось и — поем!»

Круг замкнулся. Да и нужно было идти спать. Петрикис пошел провожать нас и перед самым школьным садиком сказал:

— А ведь автор частушек, думается мне, Серега Перелыгин. Что-то он все бормотал в уголочке, когда я сапожничал у них.

— Он здесь, на улице? — поспешно спросил Комаров.

— С трактористами, на полевом стане. Прицепщиком у них...

— Спасибо, Иосиф Иосифович!

Утром Комаров направился к Шестаковской заимке, где механизаторы поднимали зябь. За овражками, недалеко от Разливной, Петру Степановичу встретился чумазый подросток лет шестнадцати в аккуратно залатанном комбинезоне. Он ловко насвистывал в такт шагам песенку о трех танкистах. Похожая на блин, кепчонка была надета козырьком назад, как у лихого мотоциклиста. Карие озорные глаза,

облупившийся под солнцем нос и выгоревший пшеничный чуб придавали лицу прицепщика деловитость и петушиный задор.

Комаров поздоровался с ним и, словно старого знакомого, спросил: — Как дела, товарищ «Острое жало»?

Паренек вскинул на него удивленные глаза и явно растерялся. Затем сердито, с вызовом, спросил:

— Кто это... шепнул вам?

— Вы сами, глаза ваши сказали, — улыбнулся Петр Степанович. — Поздравляю с творческой удачей!

Паренек молчал. В нем боролись самые противоречивые чувства.

— От частушек не отказываюсь, — проговорил он наконец, — а в стихах все равно не признаюсь.

— И стихи толковые. Не знаю, почему ты стыдишься их?

Перелыгин не сдержался:

— Он же родственник мой, кладовщик. Узнает, будут неприятности дома.

— Можешь не беспокоиться, — дружески похлопал его по плечу Комаров. — Тайна останется между нами. Хотя, знаешь: «волков бояться — и в лес не ходить». Ты очень торопишься, Сергей?

— Да нет... У меня еще час в запасе.

— Тогда давай посидим!

Они сели на пригорке, с которого была хорошо видна вся Разливная. Петр Степанович сказал пареньку:

— Смотри, Серега, сколько домов в деревне под новые крыши подвели. Гнилые бревна выбросили, два—три венца подрубили и еще будут стоять лет сто. А вон тот, крайний дом, совсем набок сел. Не поправили вовремя и пропал. Так и с людьми бывает. Заведется в ином грибок и съедает все хорошее, как жук-короед древесину. И надо помогать людям вовремя избавляться от болезни. Вот и нужна смелая критика, острая, боевая сатира. В тебе, Серега, есть такой родничок! Понятно о чем я говорю?

— Понятно! — паренек повернул свою кепку, побежал назад, к полевому стану.

Комаров рассказывал мне об этой встрече на берегу Перы за рыбной ловлей. А потом и я познакомился с Серегой Перелыгиным. Он пришел к нам в школу с засаленной тетрадкой и, все еще робея, сказал:

— Вот посмотрите, если есть время...

В тетрадке были новые сатирические стихи о заместителе председателя колхоза, который в ответ на просьбу комсомольцев помочь им в организации библиотеки, скептически ухмыльнулся, заявил: «Ведь живут на свете куры и без клуба, и без книг!»

Концовка понравилась Комарову. Он похвалил автора и спросил, куда он думает послать стихи.

— В стенную газету.

— Опять под псевдонимом?

— Нет, — потрянул льняным чубом паренек. — Подпишусь полностью!

ДОРОГА В ПОЭМУ

Через несколько дней Нина Яковлевна привезла из Хабаровска целый чемодан газет, все книжные новинки краевого издательства и несколько номеров журнала «Дальний Восток». В одном напечатаны были главы романа «Далеко от Москвы», в другом — вторая книга исторического романа «Амур-батюшка».

Василий Ажаев и Николай Задорнов тогда еще не были профессиональными писателями, впервые выступали с такими крупными вещами. Комаров прочитал оба произведения в рукописях вместе с другими членами редколлегии журнала. По дороге из Бузулей в Разливную он высказал мне свое мнение:

— Мужество наших людей на фронтах Великой Отечественной войны в какой-то мере уже показано советской литературой, — говорил Петр Степанович, шагая с чемоданом впереди нас. — А вот настоящих книг о нашем тыле, о героических делах рабочего класса в годы борьбы с фашизмом еще не было. Сейчас одна из них создана, и не где-нибудь, а у нас, в Хабаровске. Ажаев лучше всяких дискуссий ответил в ней на вопрос, что значит быть современным литератором — писать о самом важном, о самом нужном народу!

Едва-едва начинало светать. Недалеко от дороги, в зарослях дикой малины щебетала какая-то ранняя пташка и первые, робкие вестники зари разрисовали краешек чистого неба.

Комаров остановился.

— Хорошо-о! — с наслаждением вымолвил он. — И как это могут люди уезжать от таких рассветов? Так и хочется прочитать им последнюю весточку от Павла Петровича Бажова. Знаешь, что пишет этот уральский мудрец? «Особенно желаю тебе преодолеть все заманчивые чары центра, которые обычно уводят человека от своей темы. У вас, на Дальнем Востоке, она особенно благодарна!» Вы согласны с ним? — обратился Комаров к идущему рядом колхозному возчику.

— Вполне, — горячо отозвался тот. — Я сорок лет здесь живу и свой «Шумный ключ» ни на какие города не сменяю!

— Верно, Акимыч! — похвалил его Комаров. — И давай закурим по такому случаю, моих, беломорских!

— Благодарю, — вежливо отказался колхозник. — Курю табачок своей кондиции, поядреней, позабористей. Пройдетя внутри, аж плясать охота.

— Тогда угощайте, — потянулся к его кисету Петр Степанович.

Они скрутили по «козьей ножке». Возчик чиркнул спичку, стало видно, что указательный палец его правой руки короткий, словно обрубленный.

— На охоте отбило? — спросил Комаров.

— Какой из меня охотник? — усмехнулся возчик. — Волосни были...

Известно, какую мучительную боль причиняют они человеку, и Комаров заинтересовался, как же собеседнику удалось избавиться от такой болезни.

— Добрый человек помог...

— Доктор?

— Не-е... Война шла... Некогда было по больницам разгуливать. Боялся, что отрежут палец под самый корень. Помаялся и решил показаться Кузьмичихе нашей. Каким-то она порошком палец присыпала, пластырь наложила и вот — выходила. Действует...

— Где же теперь Кузьмичиха ваша?

— В колхозе. Первая мастерица по овощам. А кто часом ногу порежет или животом, к примеру, мается — поможет. Или сомневаются?

Нет, Комаров не сомневался: он сам знал многие растения, обладающие лечебными свойствами, был знаком с людьми, которые собирали в сопках «корни жизни». С одной из таких поборниц «лесной медицины», жительницей деревни Чембары Марьей Савельевной, он встречался не раз, гостил у нее перед войной. Эта волевая, большеглазая, с

черными цыганскими бровями старуха запомнилась ему. Комарову хотелось написать о ней стихи. Но строчки не складывались. Немножко странная, отшельническая жизнь старухи как бы противоречила всей нашей действительности. Не было пока у поэта той «красной ниточки», которая бы связала все воедино, сделала стихи созвучными времени. Пришлось отложить их. А сейчас, в беседе с возчиком, Петр Степанович вдруг увидел, что ниточка почти найдена, нужно только не упустить ее.

Он попросил колхозника познакомить его с разливинской лекаршей.
— Это можно, — охотно согласился тот.

В полдень они вместе отправились на колхозные огороды. Было жарко и душно. Среди прямых, уходящих вдаль грядок пестрели цветастые платки женщин, уже не первый час они собирали с капусты гусениц.

Тон задавала высокая, в годах, но еще полная сил женщина. Видно, в молодости она была очень красива, но теперь лицо ее увяло, хотя карие глаза смотрели так же зорко. Она ловко управлялась с опылителем, который висел у нее за плечами. Опрыскивая специальным раствором завязавшиеся вилки, она, сама того не замечая, являлась негласным командиром у своих подруг.

— Вот и Кузьмичиха наша, — шепнул Комарову его спутник.

Петр Степанович стал расспрашивать у нее, откуда вдруг взялся этот огородный вредитель.

— Сухота... Дождей-то не было, вот он и полез, — ответила женщина, не прекращая работы. — Вы уж не обижайтесь, нам сейчас некогда разговаривать.

— Понимаю, понимаю, — чуть смутился Комаров. — Я ведь тоже помогать пришел. Посудинку вот второпях не захватил...

— Найдем что-нибудь.

Ему дали старенькое ведерко.

Вместе с женщинами Петр Степанович стал собирать прожорливых гусениц и все незаметно поглядывал на Кузьмичиху. Из рассказов возчика он уже знал ее биографию. Очень рано осталась она одинокой, испила всю горечь вдовьей доли, замкнулась, стала уходить от людей в тайгу. За это ее прозвали «прислужницей лешего», последней в деревне приняли в колхоз. И здесь в общем труде нашла она свое счастье. Комаров проникся к этой женщине уважением. Вечером он слышал, как она позванивала во дворе подойником, ласково говорила с Буренкой. Мысли, навеянные образом чембаровской бабки Марьи, вдруг стали развиваться у него в целую поэму.

Всю ночь Петр Степанович ворочался на сене, утром сел к столу — и не сложил ни строчки. Не мог пока дать имени будущему произведению. Для него название произведения являлось как бы камертоном, по которому должны настраиваться все стихи — от первой до последней строчки.

Сначала он назвал новую поэму «Колдунья», затем переименовал в «Живую воду», он не успокоился и на этом, подыскивал лучшее название. Как-то перед лесной опушкой он показал мне скромный отцветающий таежный кустарник. Ботаники называют его леспедецей, а таежники просто — держи-корень. Внешне кустарник мало чем примечателен: у него редкие, ланцетовидные листья, мелкие, светло-фиолетовые цветочки, жесткий, гибкий стебель и лишь корни — удивительные. Они так цепко врастают в землю, что вырвать леспедецу просто невозможно. Старики уверяют, что о корни ее можно поломать стальные лемеха.

Из любопытства я взялся за кустик обеими руками и начал дер-

гать его. Растение не поддавалось. Петр Степанович стал помогать мне. Оба мы порядком взмокли, а стебель так же остался на своем месте.

— Еще раз — взяли! — скомандовал Комаров, взялся за куст натруженными до крови ладонями, и вдруг радостно воскликнул: — А ведь «что ни делается на свете, все — к лучшему!» Теперь-то я знаю, как назвать свою поэму — «Держи-корень!» И так же надо связать в ней с землей всех героев...

И поэма у него пошла.

Он начал ее с рассказа о том, как принимали в колхоз одинокую вдову, «прислужницу лешего», Лукерью Свечину, каким бурным было это собрание и как горячо спорили на нем шорник с дояркою:

В стране, мол, прошла реконструкция,
Прибрали к рукам кулака,
А есть о колдуньях инструкция
Иль все еще нету пока?

А тут еще подлила масла в огонь самая дородная и крикливая баба. Своими глазами видела она в избе Свечиной подозрительные снадобья и громогласно заявила на собрании:

— Ушла из Лукерьиной хаты я,
И после неверных речей
Мне карлики снились брюхатые
Без малого десять ночей...

Комаров никогда не обходил в поэзии острых углов, не упрощал событий. Он и теперь довел конфликт до высшего накала, а потом раскрыл перед читателями настоящую правду. Оказывается, в снадобьях Лукерьи не было ничего «сатанинского», а хранилась лишь незабываемая любовь к трагически погибшему мужу-охотнику, к цветам и травам таежным, которые она приносила из лесу и берегла так, будто «кручину великую в их запахах спрятать могла».

Колхоз помог ей воспрянуть духовно, вывел на широкую дорогу жизни. Об этом нужно было рассказать особенно убедительно, и Петр Степанович искал для поэмы самые сильные, самые выразительные слова. Вся прежняя жизнь героини представилась ему дикой яблонькой, которая много лет одна-одинешенька, словно отшельница, ютилась за деревней среди камней — в изломах и болячках, без плодов и листьев. Она так бы и погибла на отшибе, не принеся никакой пользы, но чьи-то заботливые руки пересадили ее на другое место, к молодым деревьям, окружили заботой и — произошло чудо:

Эта яблонька, что в расселине,
Проросла на свою беду,
Вдруг потом, среди шумной зелени,
Краше всех зацвела в саду.

Одним, взятым из жизни, подлинно поэтическим сравнением читателю было сказано куда больше, чем сказали бы ему сотни общих риторических строк. Излюбленный творческий метод Комарова принес новый успех: через явления природные он раскрыл явления общественные, через пейзажные зарисовки показал силу людской дружбы, плоды коллективного труда:

Огород разрастается густо,
Он укропом и тмином пропах.
Спозаранку надела капуста
Сто зеленых и белых рубах.
Разбросав свои ветви по воле,
Огород между грядок пролег,
И стручок перезрелой фасоли
Весь набит, как тугой кошелек.

Хмель украдкою влез на ограду,
Загляделся подсолнух в окно...
В этот год потрудились, как надо,
Огородное бабье звено!

И тмином, и хмелем, и подсолнухами, которыми так богаты разливинские огороды, мы любовались много раз. Комаров описал их с натуры, ничего не добавляя, а потом прочитал Родюкову. По круглому крестьянскому лицу его расплзлась широкая, полная немомго изумления улыбка. Добрую минуту он во все глаза смотрел на Петра Степановича, затем хлопнул себя по коленке и с волжским оканьем произнес:

— Ловко, елки-палки! Мы, почитай, каждый день проходили мимо этой самой капусты и не знали, что на ней, как на княжне персидской, сто зеленых и белых рубах. И про стручок фасоли здорово, сорока-курица! Набит, шельмец, по самые завязки!

ВО ИМЯ ПРАВДЫ

Он жил новой поэмой.

Он даже забыл на время о своем незаконченном романе.

Дыхание времени все больше захватывало его. Оно развертывало перед ним такие события, такую горячую борьбу за настоящее колхозное изобилие, что Комаров не мог оставаться лишь посторонним наблюдателем. Долг поэта и коммуниста всегда был у него выше всех творческих планов. И в «Шумном ключе», куда приехал отдохнуть, он чувствовал себя обязанным рассказать людям в стихах обо всем, что происходит в нашей послевоенной деревне, о тех скромных, порой даже незаметных «винтиках», которые выносят на своих плечах все основные тяготы нелегкой борьбы.

Он все чаще бывал в поле, на животноводческой ферме, на строительных участках, беседовал с колхозниками о делах, между делом узнавал, насколько авторитетны среди народа разливинские коммунисты.

И внимательнее всего присматривался он к председателю «Шумного ключа».

Петру Степановичу нравилась вдумчивая распорядительность Митрича, его веселое, всегда приправленное шуткой и присказкой обращение с колхозниками, молодцеватая, не поддающаяся годам выправка. Вместе с тем, что-то и настораживало в нем, казалось излишне резким, а порой ненужно панибратским.

Комарову хотелось до конца понять этого человека.

Петр Степанович хорошо запомнил его форменный картуз, синие галифе, хромовые, всегда начищенные сапоги, исписал целый блокнот крылатыми словечками, которые Митрич часто употреблял в разговоре, но считал, что ничего еще не знает о разливинском председателе. Биография, даже самая интересная, это еще не стихи, тем более, не поэма. О вожаке надо судить не по старым заслугам, а по тому, куда он думает вести людей завтра. Комаров просидел несколько вечеров в правлении «Шумного ключа» за бухгалтерскими книгами, изучал по ним экономику колхоза, главные доходы и расходы разливинцев, их трехлетний перспективный план.

А на утренней зорьке шел к конному двору, где Митрич ежедневно объезжал рыжего, гривастого, сердитого, как дьявол, жеребца Орлика. До чего же красиво сидел на коне Толстых! Что-то гордое, сильное было во всей его фигуре. Глядя вслед коннику, Петр Степанович думал о том, какие же чувства переживает сейчас председатель.

Однажды Комаров пришел к конному двору раньше обычного. С тропинки было видно, как Толстых вывел нетерпеливо приплясывающего жеребца и, держа под уздцы, что-то ласково говорил ему, готовясь прыгнуть в седло. Петр Степанович быстро подошел к нему:

— Дмитрий Дмитриевич, разрешите мне сесть на коня.

Чтобы не обидеть гостя, Толстых дипломатично спросил:

— Ездили когда-нибудь?

— Приходилось... Давненько, правда...

— Ну, смотрите. Строгий он... — И, передавая Комарову поводья, продолжал успокаивающе гладить Орлика по крутой лоснящейся шее.

Петр Степанович занес ногу к стремяни.

И в ту же минуту жеребец взвился на дыбы, угрожающе вскинул передние ноги. Председателю удалось вырвать незадачливого наездника из-под лошадиных копыт.

— Может и обидитесь, а я вам не разрешу прогулку верхом, — сказал председатель.

— Дмитрий Дмитриевич...

— Нет, нет... — И Толстых стал запрягать жеребца в бричку. — Теперь садитесь!

Комаров сел рядом с председателем.

— Куда желаете поехать? — спросил Митрич.

— В поля!

Толстых чуть отпустил вожжи. Длинноногий рысак вихрем промчал их по Разливной, пересек за деревней низинку и понесся в сторону Шестаковской заимки. По сторонам мелькали лесные увалы, вырубки, полянки, лысая обгорелая сопка. За ней Митрич придержал жеребца. Дорога рассекала на две равных части большое картофельное поле.

— Участки соревнующихся звеньев, — не без гордости сказал председатель.

— И кто же берет верх?

— Разве не видно?.. Каков уход, таков и приход, — объяснил Митрич. — Лишнее окучивание, лишняя подкормка, и вот вам — баланс! Вчера привозил сюда экскурсию, чтобы лично убедились в силе правильной агротехники. А вон там у нас была пшеница. На целине. Собирали с каждого гектара по двадцать пять центнеров, в полтора раза больше, чем на старице. Кое-кто роптал сначала: зачем дубняк корчевать заставляю. Теперь-то поняли, что к чему. Осенью еще гектаров десять целины поднимем — под сою, подсолнухи. Под боком у нас дом отдыха, потребность там в редиске, моркови, огурцах большая, потому и стараемся развивать в колхозе животноводство и овощеводство...

Комаров поинтересовался, на что расходуются в колхозе вырученные деньги. Митрич ответил, что на общественное строительство, на трудодни и премирование.

— И дотошный же вы, Петр Степанович, — сказал потом Толстых, поднося к лицу мокрый платок.

— Жарко? — посочувствовал ему Комаров.

— Есть малость... И зачем вам наша бухгалтерия?

— Для правды.

— Ну, коль для правды, потерплю. Спрашивайте!

Они сели в бричку.

— Почему думаете поднять осенью только десять гектаров целины? Корчевать больше нечего?

— Земля-то есть, не осилим...

— Объединитесь с соседями и начните общее наступление на целину.

Толстых хитровато усмехнулся:

— У нас же по четыре килограмма зерновых на трудодень, а у них от силы по два. Не пойдут разливинцы на такое дело. Только курица гребет от себя.

— А сами-то вы готовы к объединению? — в упор спросил председателя Комаров.

— Я — слуга народа! — уклонился от прямого ответа Толстых. Взглянул на часы и заторопился домой.

Орлик мигом домчал их до Разливной. У правления Митрич передал лошадь конюху и вместе с Комаровым прошел в свой кабинет.

В этот вечер коммунисты колхоза собрались, чтобы проверить, как выполняются прежние решения. Толстых доложил о ходе уборки урожая и подготовке к зиме. Картина, нарисованная им, получилась отрадная: хлеба скошены и заскирдованы, зябь поднята, корм для скота заготовлен полностью. Митрич подкреплял каждое утверждение цифрами.

Агроном Фроленков, избранный председателем собрания, спросил, есть ли у кого вопросы к докладчику?

— Нету, — слышалось из угла.

— А у меня есть! — сказал Комаров. — Не знает ли Дмитрий Дмитриевич, как идет уборка в соседних колхозах?

— Отстают, и основательно! — чуть приподнялся Толстых.

— А вы не пробовали им помочь?

— И рад бы в рай, да свое хозяйство не пускает, — усмехнулся Митрич.

И тогда слово взял Комаров.

Он заговорил о том, что колхоз «Шумный ключ», справедливо считающийся лучшим хозяйством в районе, не должен проходить мимо того, что многие люди в нем живут еще своим маленьким мирком, думают только о своих личных нуждах. И виноваты в этом руководители, коммунисты, которые ослабили внимание к политической работе, мало рассказывают об опыте передовиков.

— Зачем же разжигать антагонизм? — не удержался Толстых.

— В том-то и беда, Дмитрий Дмитриевич, что вы не желаете ни с кем ссориться, портить родственные отношения, — повернулся к нему Комаров. — Со стороны это заметно, и я должен сказать, что дух частной собственности не совсем еще выветрился у вас. Плохо, что это мешает вам видеть дальше своей околицы, подходить к решению всех вопросов с государственных позиций.

— Факты, — потребовал Толстых.

— А вот, пожалуйста! Соседи отстают с уборкой урожая, мало получают на трудодень, а вы даже довольны: больше будут хвалить вас, разливинцев...

И люди заговорили. Митричу указали на его «однобокость» и скряжничество. Толстых слушал сперва с усмешкой, потом нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Все-таки он оставался убежденным в своей правоте.

— Ну, Петр Степанович, боюсь, что придется вам завтра освобождать школу, — шутливо заметил Комарову Фроленков. — Митрич не любит, когда ему портят настроение.

Нам и самим пора было подумать о сборах в обратную дорогу.

Отпуск у Комарова кончался, семья уже поджидала его в Хабаровске: надо было подготовить Сережу к школьным занятиям. Нина Яковлевна уехала с детьми раньше нас.

В школу на другой день мы возвращались поздно, запыленные кострицей. Отворили калитку садика и неожиданно увидели Митрича.

— А я... поджидаю вас.

— Заходите, Дмитрий Дмитриевич, — пригласил его Комаров. — У нас открыто.

— Да нет... я мимоходом. Еду в райком, рассказать о вчерашнем собрании.

Толстых присел на ступеньку крылечка.

— Да уж от самого себя не уйдешь! И рассердился было я на тебя, Петр Степанович, а за ночь-то передумал все и вижу: ты ведь прав... Обмелел я немножко... Я только что из Нижних Бузулей. С председателем там встретился, с колхозниками поговорил. Конечно, пора объединяться, кончать с колхозными хуторками. Дело-то государственное. Может, вместе поедем в райком?..

— Едем! — согласился Комаров.

ДО СВИДАНЬЯ, «ШУМНЫЙ КЛЮЧ»!

И вот наступили последние минуты нашего пребывания в Разливной. С рюкзаком за плечами, с дорожным чемоданом в руке стоял Комаров среди светлого, приготовленного уже к занятиям школьного класса, и смотрел на испещренный морями и сушей старенький глобус, на керосиновую лампу, что освещала наше жилье в темные летние вечера. Из садика, через открытые окна тянулись вымахавшие за лето длинные побеги черемухи и как будто прощались с нами.

— Давай-ка присядем перед дорожкой!

Мы опустились на табуретки и минуту-другую сидели молча, каждый со своими мыслями.

— А теперь можно и в путь! — сказал, поднимаясь, Комаров.

У садика собралось немало разливинцев.

Кто-то взял у Петра Степановича чемодан, и люди направились вместе с ним к колхозной полуторке. Толстых положил Комарову на плечо руку, дружески сказал:

— Что ж, Петр Степанович, будем прощаться! И не хочется отпускать тебя, но ничего не поделаешь... До свиданья, дорогой! Не поминай лихом!

Крепко, с душевной благодарностью пожимали люди руку Петру Степановичу.

Шофер сел за руль, предупреждающе засигналил. Машина была готова тронуться.

Комаров сел в кабину. Загудел мотор. Петр Степанович высунулся из кабины, прокричал расступившимся перед полуторкой колхозникам:

— Счастливо оставаться, товарищи! — и прощально замахал рукой.

В последний раз мелькали перед нами раскрытые окна в голубых наличниках, украшенные немудреной резьбой, палисадники с черемухами и кудрявыми березками.

— До новой встречи, «Шумный ключ»!

